

Владимир Гофман

КОСТРЫ НА БЕРЕГУ

Обыкновенные истории

2013

ВОЛЖСКИЕ РАССКАЗЫ

СКАЗАТЬ ПРАВДУ ТАК ПРОСТО

На клиросе уже дочитывали последнюю молитву из «Последования»¹, а желающих исповедаться оставалось по-прежнему много. Отец Анатолий устало повел плечами, распрямил спину. На «Крестопоклонной»² всегда так, подумал он и, расправив зацепившийся за наперсный крест край фелони, посмотрел на подходившую к аналою очередную исповедницу. Это была старушка – маленькая, худая, в белом платочке. Когда она подняла голову и взглянула на отца Анатолия, он сразу узнал в ней свою учительницу по биологии Нину Сергеевну, классного руководителя 5 «б».

«Как постарела, Боже мой!.. Сколько же лет прошло – сорок? Нет, больше, – думал отец Анатолий, не отводя взгляда от полинялых, когда-то ярко голубых глаз учительницы. – Узнает или нет?». Не узнала. Да и не мудрено – кто бы разглядел в грузном, убеленном сединами протоиерее, вихрастого мальчишку из давно умершего села на берегу Волги?

Отец Анатолий вздохнул и наклонился к аналою. От старушки пахло сундуком и приторными доисторическими духами. Он сразу вспомнил этот запах.

«Красная Москва»! Ну да, так духи назывались. На мгновение отец Анатолий почувствовал себя школьником, которого сейчас вызовут к доске. И даже увидел залитый солнцем класс и вырезанную перочинным ножом надпись на парте: «Ира + Саша = любовь», и Нину Сергеевну в синей кофте, источающей ненавистный аромат популярных духов, высокую и прямую, как заточенный карандаш. Вот сейчас её указка упрется ему в грудь, и он пойдет, не поднимая головы и сгорая от стыда между партами на позорное судилище...

Не торопясь, старушка надела очки, развернула тетрадный листок, исписанный аккуратным, совсем не старческим почерком, и стала зачитывать содержимое. Она монотонно перечисляла грехи, выписанные из брошюры «В помощь кающемуся грешнику», не разбирая, совершала их или нет. «Скверно прибытчеством, мшелоимством...» И тут по трафарету, с горечью думал отец Анатолий, слушая вполуха заученные фразы. «Словом, делом, помышлением...» – шелестел голос исповедницы, и священнику очень хотелось спросить, каким словом, каким делом, каким помышлением, но он не спросил, зная, что та не поймет, о чем её спрашивают. Сейчас закончит, сложит шпаргалку, я прочту ей молитву и все – отойдет с чувством выполненного долга ждать причастия, – отец Анатолий возложил старушке на голову епитрахиль, – и ничего не изменится. Да

¹ «Последование ко святому причащению» - сборник канонов и молитв, читаемых при подготовке к Таинству Причащения. Часто в храме читается на клиросе вслух пока идет проповедь.

² Крестопоклонная неделя – название третьего по счету воскресенья Великого поста.

ей и не хочется ничего менять. Бедная, бедная! Прости ей, Господи! Он вздохнул, поглядел на икону Спасителя и прочел разрешительную молитву. И снова его обдало пряным ароматом «Красной Москвы». Нет ничего противней этого запаха! Он почувствовал мгновенную слабость и желание напомнить учительнице тот классный час, что безжалостно вырезал первую отметину на скрижали его сердца. Но отец Анатолий с искушением справился и промолчал.

А было все так.

Майский полдень. Окна в классе распахнуты, за ними веселое солнце, небо синей синего, старые деревья с молодыми листьями. Никто не слушает урока, потому что у всех мысли далеко за стенами школы. Задорный девичий голосок вдалеке поет частушку:

*Подружка моя,
Синий сарафанчик,
Будешь замуж выходить,
Поднеси стаканчик!...*

На задней парте громко фыркает второгодник Паша.

— Тихо! – говорит строгим голосом совсем не строгий учитель математики Геннадий Петрович. – Лямаев, если ты не работаешь, не мешай другим!

— А чего я? – обиженно отвечает великовозрастный Паша.

А с улицы опять:

*Подружка моя,
Синий сарафанчик...*

Вот заладила!

Теперь уж смеется весь класс. Весна.

Под шумок Толик достал из кармана спичечный коробок и поднес его к уху. Скребется, живой! В коробке сидел пойманный вчера вечером майский жук и ждал своего часа. Час настал. Толик достал жука и быстрым движением сунул его под светлые кудряшки за воротник сидящей впереди Ольги, самой вредной девчонки в классе. Та взвизгнула и пробкой вылетела из-за парты. Поделом ей, курносой, ишь, взяла моду не давать ему списывать домашнее задание! Всем дает, а именно ему – нет. Рыжий он, что ли?!

— Дурак! – крикнула Ольга и выбежала из класса, громко хлопнув дверью.

А Толику стало не по себе, потому что в испуганных глазах девчонки стояли слезы. Как две синие лужицы. Чего она, уж и пошутить нельзя, что ли?!

Из класса его, конечно, выгнали, и, так как урок был последним, он отправился домой, размышляя по дороге, как сегодня вечером, когда стемнеет, наловит в парке еще жуков, запряжет самого крупного, и тот будет возить коробку по учительскому столу на потеху всего класса. Да что майские жуки!

Вчера ему удалось поймать жука-носорога, вот это редкость! Ну, совсем настоящий носорог, только маленький.

Это чудище Толик нашел, когда копал червяков в огороде по просьбе отца. Отец собирался на рыбалку один, без Толика, потому что май-то он май, но каникулы еще не наступили. Не будешь же объяснять родителям, что все равно никто уроков не учит. Их не хотелось учить даже круглой отличнице Ольге. Она, конечно, зубрила, но при этом проливала горькие слезы на промокашку, завидуя совершенно черной завистью троечницам, которые прыгали на улице через скакалки и нарочно громко хохотали. А в школе все просили у нее списать, и она, чувствуя тут свое превосходство, всем давала, кроме, конечно, Толика, которого давно уже терпеть не могла и старалась всячески показать это всему классу.

Толик червей накопал, но с отцом вел себя сдержанно. Поставил ведро с червями на скамейку возле крыльца, где отец налаживал снасти и демонстративно отвернулся. Отец молчал. Постояв так с минуту, Толик вздохнул и медленно пошел к калитке. Не позвал его отец, значит, и надеяться было не на что.

Сегодня отец опять занимался снастями, и зависть, как майский жук, заскребла лапками по сердцу мальчишки.

— Ты что так рано? – спросил отец.

— Отпустили, – Толик неопределенно махнул рукой.

— Ну и радуйся, а ты нахохленный какой-то.

— Ничего я не нахохленный, – Толик смотрел в сторону, но отлично видел, как отец ловко вяжет крючок «в петлю».

— Я, что, слепой?

Толик промолчал.

— Хочешь на рыбалку?

У Толика перестало биться сердце.

— Да так... – на большее воздуха в груди не хватило.

— Ну, гляди, – пожал плечами отец и, прихватив зубами кончик лески, затянул узел. – Как хочешь.

— Хочу! – сорвавшимся голосом произнес Толик.

— А уроки?

— Я выучу все! Я...я...

— Выучишь?

— На пятерки!

— Слово – закон, помни. Собирайся. Сегодня в ночь и отправимся.

Сердце ожило и стало сильно биться. Так сильно, что даже снаружи было слышно, как оно колотится о грудную клетку. Толик даже рукой его прижал, чтобы не выпрыгнуло. От радости такое случается.

— А... это..., – он облизнул пересохшие губы. – Завтра же в школу.

Отец сдвинул на лоб очки.

— Пропустишь денек. В субботу ведь немного уроков?

— Да какие уроки в субботу! – задохнулся Толик. – Два... Ну, три, не больше!

— Ты обещал выучить, не забыл?

— Дык, еще бы!

— И чтобы ни гу-гу! Никому ни слова!

Толик ткнул пальцем в сомкнутые губы, показывая, что скорее откусит себе язык, чем произнесет хоть слово.

— Давай. Матери я сам скажу.

Больше всего на свете Толик любил две вещи: фильм «Спартак» с Керком Дугласом в главной роли и рыбалку. Рыбалку, пожалуй, сильнее. Особенно майскую, когда сорожка нерестится. И наплевать на вампиров-комаров, беспощадно впивающихся в руки и шею. И на то, что подушечки пальцев на левой руке чуть не до кости прожжены муравьиным соком – тоже наплевать! Сорожка отчаянно клюет максимум неделю, надо успеть. Крадешься с удочкой, где вприсядку, где ползком, чтобы и тень твоя не легла на воду – там под берегом в траве кучкуются самки, выбрасывая икру, которую потом полиют молоками подоспевшие самцы. Надо изловчиться и прямо под нос рыбине опустить морышку с копошащимися на крючке муравьями. Если не спугнешь, она вроде как поначалу и не заметит наживку, даже и в сторону повернет, будто ей совсем не интересно, кто там лапками шевелит, но стоит чуть-чуть подтянуть снасть, как тут же жадно схватит лакомый комочек – и вот ты уже выводишь добычу между ветками на берег. Самки покрупнее, самцы – мельче, но шершавые, как терка. Такая пора – икромет.

Это рыбалка с берега, по большей части мальчишечья забава. А с лодки на гривах – тут уж по-взрослому! И рыба солидная, и больше её, чем в заливах под кустами. С лодки порыбачить все пацаны мечтали. Да редко такое счастье кому выпадало: веселая неделя всегда в мае, а школу, ясное дело, никто в это время не отменит. А было бы здорово: входит в класс Нина Сергеевна и объявляет своим постным голосом, что уроки отменяются в связи с нерестом – все на рыбалку! И во сне не приснится. Так что Толик понимал, какой ему фарт улыбнулся. Как хотелось рассказать об этом приятелям, но он дал слово молчать. И молчал. До вечера. А вечером в парке, когда ловили жуков, не удержался – открыл секрет своему первому другу Кольке. Думал, порадует за товарища, а он скис и сразу домой ушел. Ну да ладно!

Рыбалка удалась на славу. Все было здорово. С вечера варили уху из только что пойманной рыбы. Пока мужики собирали на опушке дрова, Толик выловил с берега крупного линя, и все его зауважали. Линь был толстый с красными глазами, и Толику было очень жалко отдавать такого красавца на уху, но он и виду не подал, сказал небрежно: еще поймаю, но не поймал.

В сумерках комаров от болот налетело столько, что казалось, сам воздух гудит над поляной, где рыбаки расположились на ночлег. Спасал костер, в который время от времени подбрасывали свежие еловые ветки. Они нещадно дымили и хотя бы на время отгоняли лютых кровососов. Но разве могут испортить настроение какие-то комары? Ели деревянными ложками уху из котелка, и все согласились, что вкусная она такая благодаря линю, не иначе. Толик намазал руки и лицо «Тайгой» и лежал на отцовском плаще у огня, слушал рыбацкие байки, а где-то в лесу в глухой темноте ухал филин. Он не заметил, как

уснул и проснулся уже на рассвете от холода. Рыбаки рассаживались по лодкам, уплывали на гривы. Впереди был утренний клев.

В котелке оказалась уже не уха, а горячий чай с земляничным листом. Выпили по кружке, и стало теплее. Отец оттолкнул лодку от берега, и она медленно поплыла в тумане. Толик смотрел, как удаляются сосны, похожие на застывших витязей в бронзовых доспехах. А потом был клев, такой, что и словами не скажешь! Они набили сорожкой две большие корзины. Корзины отец сплел зимой из мокрого тальника, специально с крышками для садков под рыбу, они были и сами по себе тяжелыми, а с рыбой стали и вообще непреподъемными.

Возвращались после полудня. Солнце припекало всюю, и Толик лежал на носу лодки и смотрел на тихую воду, бежавшую вдоль бортов, счастливый и беззаботный, какими бывают люди только в детстве. На корме за мотором сидел отец, глядя из-под ладони на приближающийся берег, где среди зелени темнели крыши домов. Дома казались отсюда маленькими, словно игрушечными. Вон и школу видно! Толик усмехнулся, представив свою пустую парту. Если бы сейчас сказали, что завтра ему будет очень плохо, он ни за что бы не поверил, потому как не знал, что наступает первый в его жизни черный день, а до сих пор все дни были белыми. И он бы не испугался, потому что человек не может бояться того, чего не знает.

Староста класса круглая отличница Ольга Лапшина противным голосом объявила, что после уроков будет классное собрание и при этом искоса посмотрела на Толика, и у него вздрогнуло сердце. Предчувствия почти никогда не обманывают, но люди не умеют пользоваться ими. Да и возможно ли предотвратить то, что должно случиться? Предотвратить нельзя, но подготовиться все-таки можно. Толик не подготовился.

Как только все уселись за парты, и утих шум, Нина Сергеевна встала из-за учительского стола и окинула строгим взглядом класс. Тонкие в ниточку губы разжались:

— Замятин, иди к доске!

В висках у Толика застучало. Он встал и, натянуто улыбаясь, пошел между рядами парт. В тишине раздавалось сопение второгодника Паши на задней парте. «Откуда она узнала? Откуда? Откуда?..» – эта мысль сверлила мозг, и ни о чем другом Толик думать не мог.

— Ну?! – учительница ткнула в его сторону указкой, словно рапирой. – Полюбуйтесь на героя!

Второгодник Паша как всегда хмыкнул, а у Толика к щекам прилила кровь.

— Ответь-ка нам, Замятин, почему ты не был в субботу на уроках?

— Я... я заболел, – неуверенно проговорил Толик.

— Чем же это ты заболел?

— Не знаю... У меня была температура.

— Врешь! – резко крикнула учительница, и в классе стало очень тихо. – Он еще и улыбается. Встань прямо!

Толик чувствовал, что улыбка словно приклеилась к его лицу, растянула губы, и он не может ничего с ней поделать. Он посмотрел на Нину Сергеевну. На щеках у нее появились розовые пятна.

— Видите, ребята, как он вас всех не уважает? Когда вы учитесь, он гуляет, а когда спрашивают, врет в глаза!

Никто не проронил ни слова. Даже Паша перестал сопеть, лежал на парте, положив подбородок на поставленные друг на друга кулаки.

— Так что? — снова зазвенел голос учительницы. — Отвечай, ведь ты врешь?!

Толик не ответил, опустил голову. Он понимал, что если признается, то как бы выдаст отца, взявшего его на рыбалку в учебный день. И хотя ясно было, что учительница все знает, какой-то внутренний сторож удерживал Толика от признания.

— Замятин, ты оглох? Отвечай, когда тебя спрашивают! Отвечай товарищам, где ты был в субботу?

— В бане! — прозвучал в тишине басовитый голос Паши.

Никто не засмеялся. Только пятна на щеках учительницы стали пунцовыми.

— Лямаев! Встань, выйди из класса.

Второгодник Паша что-то бубнил под нос, собирая портфель, потом пошел к выходу и на ходу подмигнул Толику.

— Итак, продолжим. Ты будешь говорить? — Нина Сергеевна подошла совсем близко, запахло «Красной Москвой». Что за запах! Противней не бывает. То ли дело ветер с Волги — чистый, свежий — он пахнет смолой, рыбой, молодыми листьями. От него в голове становится ясно, а от этих духов только мысли путаются. — Так ты будешь говорить?

Как медленно тянется время! Толику казалось, что он физически ощущает своей кожей протяженность каждой минуты. Мгновенья имели вес, запах, только цвета не было. Похожие на ртуть, они распадались каплями и снова сливались в тяжелые шары, и в каждом звучал голос классной руководительницы:

— Значит не хочешь сказать правду? Что ж, спросим твоего приятеля. Воробьев, встань!

Толик поднял голову. Громко хлопнула крышка парты. Колька стоял, вытянувшись по стойке смирно, как на уроке физкультуры, красный, словно вареный рак.

— Ну, скажи нам, Воробьев, где твой дружок провел субботу?

— Я не знаю, — едва слышно произнес Колька.

— Как это ты не знаешь? Не ты ли рассказывал, что Замятин отправился на рыбалку?

Во рту у Толика стало сухо. Он вспомнил, как в парке поделился с приятелем радостью, а тот расстроился и ушел домой. Колька? Лучший друг? Не может быть!

— Воробьев, ты язык проглотил?

— Нет.

— Очень хорошо. Тогда скажи, о чем тебя спрашивают!

— О чем?

— Не притворяйся дурачком, Воробьев! Ты говорил, что Замятин ловит рыбу вместо уроков. Говорил?

Колька молчал.

— Говорил или нет? – учительница ухватила указку за концы, казалось, что она сейчас её переломит о колено.

— Говорил.

— Ага. А откуда ты узнал, что он на рыбалке?

Толику стало нестерпимо стыдно, но он не понимал – то ли за себя, то ли за друга. Он посмотрел на Нину Сергеевну. Хотелось крикнуть: хватит, отпустите нас! Но крикнуть Толик не мог. И весь класс сидел молча.

— Я... я это выдумал! – произнес, наконец, Колька.

— Та-ак! И этот врет! – учительница стукнула указкой о стол. Получилось громко, как выстрел. – Я вас к директору отведу!

Директора школы Ивана Евдокимыча боялись все, даже старшеклассники. Бывший военный, фронтовик, он нагонял страх на самых отчаянных хулиганов уже одним своим видом. Лицо его было изуродовано глубоким шрамом, сбегавшим через подбородок по шее под воротник рубашки, всегда застегнутой наглухо. Вместо правой руки из рукава пиджака торчала мертвая клешня протеза, которой он удивительно ловко хватал провинившихся мальчишек за шиворот, за что и получил прозвище – «Крюк».

И тут Колька сломался.

— Мне сам Толян сказал, что на рыбалку с отцом поедет! – со слезой в голосе промямлил он.

Так плохо Толику никогда еще не было. Комок подступил к самому горлу, и, чтобы не заплакать самым позорным образом, он изо всех сил сжал кулаки.

— Ясно, – сказала Нина Сергеевна. – Молодец, Воробьев. Всегда нужно говорить правду. Правду говорить легко, ведь так?

Никто не ответил.

— Я спрашиваю – так?

— Так, – тихо сказал Колька.

— Ну вот. Запомни навсегда. А вот Замятин, к сожалению, не понял этого. И за это ответит. Все свободны. Замятин, завтра придешь в школу с отцом. Это хотя бы ты понял?

Если бы даже Толик очень захотел, он не смог бы ответить, потому что горло у него замерзло, как во время операции, когда ему вырезали гланды – не только говорить, но и дышать было трудно, и Толик дышал носом.

Но и это было не все. Когда отец вернулся из школы, где ему, по всей видимости, открыли глаза на поведение сына – какой это непослушный и плохой ученик, как не уважает товарищей и учителей, как постоянно врет и изворачивается, он был в ярости и крепко отчитал Толика, даже за ремень ухватился, но

потом передумал прибегать к этому древнему методу воспитания и ограничился увесистым подзатыльником.

Толик горько плакал в саду за домом, где его никто не мог увидеть. Было обидно до невозможности. Потому что все, что наговорила отцу Нина Сергеевна, было неправдой. Ну, отчасти, конечно, правда присутствовала, но в основном – нет. Просто учительница за что-то невзлюбила его и теперь придирается к каждой мелочи. За что? А отец? Сам же позвал на рыбалку, а тут поверил Нине Сергеевне! Толику казалось, что и отец предал его, как на классном часе друг Колька. Все, все, кто был ему дорог, его предали! И мать с ним не разговаривает, считая вруном и лентяем. И в классе, наверно, отвернутся от него. Слезы горохом катились из глаз Толика на свежевскопанную под грядки землю.

Все проходит. Вон на Волге, какие бури случаются, с вечера волны бьются под обрывом, аж жуть берет, а утром, глядишь, тишь да благодать по всей реке. Высохли у Толика слезы, и на другой день он пришел в школу угрюмый, но спокойный. Гордо задрав подбородок, он сидел за партой, имея твердое намерение ни с кем не разговаривать. Не знал, бедолага, что его ждет еще один удар, правда, другого характера.

До звонка оставалось пять минут, когда в класс вошла отличница Ольга. Ни на кого не глядя, она направилась прямо к Толику, банты в косах так и прыгали по плечам. Толик приготовился к обороне.

— Толь, – подчеркнуто громко сказала Ольга, и вокруг затихли голоса. Ольга никогда не называла Толика по имени, исключительно по фамилии. – Толь, – сказала она, – если не успел сделать домашнее задание, возьми, спиши у меня!

Рухнула оборона Толика в одночасье. В груди стало горячо. Очень горячо. Он только взглянул на Ольгу и пулей вылетел из класса.

Отец Анатолий посмотрел вслед исповеднице. Педагог – это слуга, который ведет ученика к Учителю. Вела ли их к Учителю Нина Сергеевна? Если не вела, то, как же он к Нему пришел? Или вела? Вздохнул отец Анатолий и подумал, что пути Господни, и впрямь, неисповедимы.

Размышлять было некогда, к аналою шла уже новая исповедница. На «Крестопоклонной» народу в церкви много бывает всегда.

ЛОДКА

Наконец-то! Я ждал этого дня с зимы. Отец обещал взять меня с собой, когда пойдет покупать лодку. И вот – разбудил с утра пораньше, и мы, попив наскоро чаю, отправились – путь предстоял не близкий.

Легко сказать – купить лодку. А для меня, да и для отца тоже – это было настоящим событием. Генка меня совсем достал своими рассказами о том, как они с отцом ездят на рыбалку. И Вовка тоже. И Сашка. А у нас лодки не было.

Сначала я приставал к отцу с расспросами, почему это у всех есть, а у нас нет? Но он только отмахивался, а однажды, рассердившись, сказал:

— Потому что денег нет!

Я все понял. Отец был инвалидом войны, и жили мы на его пенсию, да такую же мизерную мамину зарплату. Вопросов я больше не задавал. Молчал и отец, но как-то раз зимой проронил:

— Придет весна – купим лодку.

Теперь долгими зимними вечерами, сидя у открытой печки с разгоряченными лицами, мы обсуждали с ним, какая лодка лучше – широкая или узкая, с ящиком для стационарного мотора или без него? А еще цвет! Деталь немаловажная. Мне хотелось, чтобы был зеленый, а отец отдавал предпочтение красному.

— Сурик он крепче, – со вкусом говорил он. – Дерево дольше живет, если им красишь.

Против этого возразить мне было трудно.

Мама слушала все эти наши споры-разговоры и только смеялась.

— А что, – говорил ей отец, – это тебе не табурет купить, лодка – дело серьезное. Вроде женитьбы.

— Я понимаю, – с иронией отвечала мама.

И вот долгожданный день наступил. Я бегу впереди отца по еще пустынной улице. Тихо-тихо. Только грачи покрикивают недовольно в густых кронах тополей и лип. Солнце уже выбралось из своей мягкой постели в облаках за Волгой и теперь медленно поднимается над рекой. И сосны на противоположном берегу стали медно-красными. И вода – спокойная, еще не проснувшаяся с ночи – зарозовела. Хорошо!

У нас в поселке лодок не делают. Всякие промыслы имеются, а этого нет. Зато в пяти километрах есть деревня Кораблево, там каждый второй житель – мастер по лодкам. Со всей округи в эту деревню ходят лодки заказывать. Поэтому, наверное, и назвали ее – Кораблево. Ну, вот и мы туда идем.

Я заранее радуюсь и предстоящей покупке, и долгой дороге рядом с отцом, и тому, что, наконец, увижу понтонный мост, о котором так много слышал. Говорили, что с него хорошо ловятся на тесто лещи. Не подлещики какие-нибудь, а именно лещи – огромные, как подносы в поселковой чайной, куда мы бегаем за «крем-содой». Я однажды видел такого леща. Его Генкин отец поймал. Еще больше подноса был. Точно.

Позади остался поселок. Тропинка ведет через поле, потом по склону крутой горы, через ручей, снова в гору. Тут стоит деревня Чернильниково. Эти места мне знакомы, а вот дальше бывать не приходилось.

Где-то через час пути выходим к широкому заливу. Вот он – pontонный мост! Такие железные штуковины, вроде ящиков с закругленными и приплюснутыми краями, шагов по десяти в длину, лежат себе на воде и не тонут. А по ним – дощаной настил, хоть на велике кати! На мосту сидят рыбаки, возле них веерами раскинуты над водой длинные удилища. Мы идем по пегим, выгоревшим на солнце доскам настила, и понтоны скрипят и погромыхивают негромко, раскачиваясь от наших шагов и легких волн, докатывающихся в залив из водохранилища.

Отец разговаривает с мужиками о рыбалке, и я, наострив уши, слушаю, а сам не отрываю глаз от поплавок: а вдруг сейчас клюнет тот самый громадный лещ? Знаю я его повадки – чуть тронет, покачает поплавок, потом положит его на воду и, не спеша, поведет в сторону. Тут-то его и... Но нет сегодня клева. Ветер восточный. А при восточном ветре рыбачить – все равно, что в корыто удочку забрасывать. Так и рыбаки на мосту говорят, однако сами-то сидят, ждут чего-то.

Дальше путь наш лежит через деревни, поля, перелески – все вдоль берега Волги. Вот вроде и лесом идешь, а вдали, меж деревьев, посверкивает густая синева реки. Встречные мужики здороваются с нами, разговаривают с отцом о взрослых делах, а меня удивление берет: так далеко ушли, а отец и тут всех знает, и его все знают.

Но дорога мне уже надоела, жжет нетерпение – скоро ли Кораблево, купим ли мы лодку и какая она будет? Ну, конечно, такая, какой снилась мне всю зиму. Вот я вижу ее: весла в уключинах, черное смоленое днище, а борта – ярко-зеленые. На носу непременно будет открываться крышка – там хранятся веревки для якоря, сам якорь, разные инструменты и рыболовные снасти. До того ясно мне все это представляется, что прилепившуюся к борту чешуйку и ту вижу. Блестит она, словно новехонький гривенник, какой моя бабушка в марте, на Сорок, запекает в грудку ржаной птицы – жаворонка.

До Кораблева добрались мы часа через два. Деревня оказалась большая, вся в садах – только крыши выглядывают, а за околицей над небольшим круглым прудом наклонились к самой воде старые ивы, такие толстые, что и втроем не обхватишь. Кора у них твердая и вся в крупных складках. От нее, мне кажется, даже топор отскочит.

Возле первого домика на завалинке сидела маленькая старушка и, опершись на палку, глядела на нас.

— Здравствуйте, бабушка! – обратился к ней отец.

— Здравствуйте и вы.

— Деревня ваша – Кораблево?

— Кораблево, Кораблево, – закивала головой старушка.

— А где тут Матвеич живет?

— Матвеич? А который тебе нужен, у нас Матвеичей в деревне трое.

— Лебедев Костя.

— А-а, это на том конце, – махнула старушка рукой. – Крайний дом. А вы чьи будете?

— Да мы насчет лодки, бабушка.

— Тогда точно, к нему – первый у нас мастер.

Матвеича мы нашли за домом, в саду. Тут под навесом у него была мастерская. Очередная лодка стояла днищем кверху на подпорках, и Матвеич подгонял к борту последние доски. Трава кругом была обсыпана золотистыми стружками, а возле верстака накопилась целая куча, будто сугроб намело. Пахло свежим деревом.

— Здорово, хозяин! – поздоровался отец. Матвеич, молодой мужик с бородой и светлыми кудрявыми волосами, положил топор и поправил торчащий за ухом карандаш.

— Здорово, коли не шутишь, – ответил он весело. Отец провел ладонью по свежевystруганному днищу.

— Лодку продашь?

У меня замерло сердце.

— Отчего не продать, ежели покупатель добрый! – все так же весело сказал Матвеич и подмигнул мне.

Рот у меня растянулся до самых ушей. Я смотрел с восхищением на темные, сильные пальцы мастера и на блестящее колечко стружки, зацепившееся в его бороде.

— Откуда путь держите?

— Из Светлых Ключей, – ответил отец.

— Ишь ты! – вроде как удивился Матвеич, с уважением посмотрел на отцовские костыли и снова подмигнул мне. – Погодите-ка, я кваску принесу.

Потом отец и Матвеич долго говорили о лодках, о рыбалке и других делах, но я уже не слушал, все ходил вокруг почти готовой лодки, трогал ее и думал о том, что эту лодку еще надо смолить, красить и так далее, а значит, значит...

Мы купили другую лодку. Матвеич повел нас на берег, там, в заливишке под вязом стояла лодка, которая будто нас и ждала.

— Зеленая! – радостно закричал я.

— Точно, брат, зеленая, ну так что? – не понял Матвеич моего восхищения.

— Да ему, вишь, цвет такой хотелось, – разъяснил отец.

— Самый для лодки наилучший цвет! – уверенно заявил Матвеич.

— Во! А я что говорил, – закричал я.

— Ну, это еще как сказать, – уклончиво сказал отец. – На вкус и на цвет товарища нет.

— Это точно, – поддержал Матвеич.

Все уселись на траву под вязом и замолчали. Где-то высоко в небе звенел жаворонок.

— Вот, бери, коль хочешь, – как бы равнодушно сказал Матвеич и махнул рукой по направлению к лодке. – Шестиметровка. «Первая вода» ей нынче. Чего лучше...

У меня снова куда-то покатилося сердце. Что ответит отец? А он забрался в лодку, поднял все слани, поглядел, нет ли где течи, потом вставил весла в уключины и взмахнул ими. В одной уключине скрипнуло.

— Надо масла капнуть, – сказал Матвеич.

— Ладно, по рукам, – коротко бросил отец, и я оказался на седьмом небе, потому что, конечно же, лучше этой лодки не могло быть на свете!

Правда, в тот день, как мне ни хотелось, лодку мы не взяли. Матвеич решил что-то доделать в ней и потому отвез нас домой в своей лодке. Она была куда меньше нашей и старая уже, но бежала под «Стрелой» хорошо. А еще через пару дней Матвеич пригнал и нашу лодку. Он был все такой же веселый и разговорчивый.

— Ну, теперь вся рыба твоя, капитан! – сказал он мне на прощанье и легонько щелкнул по лбу.

Мы поставили лодку на давно облюбованное место в заливе у двух береж. Все мальчишки прибежали поглядеть – и Генка, и Вовка, и Сашка. Лодка всем понравилась.

— Длинная! – сказал Генка.

— Крепкая! – сказал Вовка.

— Вы чо, лодка что надо! – подвел итог Сашка.

— Еще бы, я и сам знаю – что надо!

А следующей весной, когда только стаял снег и над парком шумно загомонили грачи, мы с отцом готовили нашу лодку ко «второй воде». На костре булькала в помятом ведре смола, и резкий запах ее далеко разносился над берегом.

Вы знаете, как пахнет кипящая смола? Если не знаете, то вы многое потеряли. И вам никогда не понять, что таит в себе этот густой, острый, кружащий голову аромат. И значит, вы не знаете, что такое обмакнуть квач в это клейкое, ароматное варево и нанести его потом на проконопаченное днище своей лодки!..

А рядом Волга. Быстрым течением гонит последние синеватые льдины. Облака вереницей тянутся по небу, и солнце ныряет в них, желтое, как блесна.

...Эта лодка служила нам долго, до самой смерти отца. Он умер зимой, в январе. А в апреле, когда начался ледоход, мы сидели с товарищами на берегу, и вдруг течением выгнало из залива льдину с вмерзшей в нее старой лодкой.

— Смотри-ка, – толкнул меня Вовка, – вроде ваша лодка?

Это была она. Отец болел с осени, и мы не вытащили лодку на берег. Мы забыли о ней.

Большой черной птицей сидела лодка на льдине. Вот ее прогнало мимо нас и понесло дальше, в водохранилище, туда, где нет берегов, а только синяя вода и ледяное крошево.

Так пришла «последняя вода» нашей лодки.

У КОСТРА

— Восемнадцать, – сказал Витек.

Он считал костры по левую руку от нас, а я - по правую.

— Одиннадцать.

Двадцать девять костров! Это только, что видно вдоль берега от Грязного залива до Кривого бора. А сколько еще там не видно! И сколько у этих костров людей сидит, если около нашего восемь человек! Так уж заведено: запалит кто костер, а к нему потом другие подтягиваются – знакомые, незнакомые – без разницы.

— Ночуем, мужики? – спросит рыбак из лодки.

— Ночуем.

— Ну, так и мы с вами.

— Давай, места не жалко.

Взрослые знакомятся, складывают вместе рыбу, затевают уху и чай.

Ничего на свете нет слаще ухи из котелка, сваренной ночью на костре! Рыбы – ложкой не провернешь. Да крупы подсыплют, да пару картошек, да лаврового листа с перчиком. Дух от этой ухи на всю округу! Слюной изойдешь, пока ожидаешь.

Наконец всплыл рыбий пузырь, значит уха готова. Котелок снимают с огня, все рассаживаются кружком со своими ложками, тянутся зачерпнуть. А вокруг темнота – хоть глаз выколи. На небе висят крупные белые звезды, ковш Большой Медведицы опрокинулся к Волге. Тихо. Лишь изредка в глубине леса ухнет филин. И все у костра замрут на минуту, прислушаются. Нет, ничего. В костре потрескивают дрова да шуршит волна легкая, набегая на песчаную отмель.

Когда уха съедена и чай выпит, наступает время перекура и рыбацких баек. Слушать их можно бесконечно – то веселые до слез, то страшные немножко, а чаще, конечно, о пойманной рыбе во-от такой величины!

— Ка-а-ак рванет, веришь – нет, я аж в корму башкой въехал, – рассказывает дядя Митя, самый старейший у нашего костра.

— Ну? – недоверчиво говорит худой мужик с перебитым носом, имени которого не знаю.

— Вот те и ну! Жилка была ноль восемь – как бритвой срезало.

— Ну?

— Ну, ну! Что ты все нукаешь?

— Ладно, дальше-то что?

— Без блесны что дальше, как думаешь?

— А че думать, ясное дело, поворачивай оглобли.

— Эх ты, оглобля! Головой работать надо, – насмешливо говорит дядя Митя.

— И как же ты сработал? – спрашивает дядю Митю кто-то из темноты.

— Очень просто, – продолжает тот охотно. – Беру ложку – люминиевая ложка у меня была – ломаю ее и привязываю вместо блесны.

— Во дает!

— Да, ты как думал! Пускаю дорожку, веришь нет, – берет! Вытянул щуку, что твое полено, килограмм на восемь.

— Ну?! – опять не удержался худой мужик.

— Баранки гну! – плюнул дядя Митя.

— Так без крючка и вытащил? – недоверчиво спросил голос из темноты.

— Так и вытащил!

— Иди ты! Щука тебе – дура, что ли? Станет она за ложку держаться да ждать, когда ты ее через борт перевалишь!

— Значит держалась! – обиженно говорит дядя Митя.

— А че, – вступает в разговор Саня Найдин, – запросто может быть. Ты, дядь Мить, ложкой той кашу, небось, трескал?

— Ну так что? – не понимает дядя Митя.

— Нет, ты скажи, ел кашу?

— Ну, ел.

— Маслом мазал?

— Ну, мазал.

— Вот, видишь, – облегченно вздыхает Саня.

— Че, видишь-то? – настороженно спрашивает дядя Митя, а все затаились, ждут, что же скажет балагур Саня Найдин.

— А то, – говорит он, – ложка-то у тебя кашей пахла, да еще с маслом. Щука из любопытства и держалась за ту ложку: а вдруг, мол, старичок кашей угостит? Да разве он угостит, снегу зимой не выпросишь!

— Да ну тебя, дурила хренов! – окончательно обижается дядя Митя под дружный хохот мужиков, а Саня невозмутимо запускает свою ложку в котелок с остатками ухи.

— Всякое на реке случается, – говорит бородатый мужик со странным прозвищем Сережка Малышка, хотя он совсем не маленький, а большой, как гора. – Я как-то, помню, брюхо судаку вспорол, а там часы.

— Вот так, – поддакивает дядя Митя.

— Ага. И что ты думаешь – ходят!

— Конечно, – кивает головой Саня. – Судак твой утопленнику руку откусил. С часами...

Опять дружный взрыв смеха эхом отдается в лесу.

— Эй, Саня! – раздался прежний голос из темноты. – Хватит трескать, весь котелок вычистил. Расскажи-ка лучше, как ты уху-то варил, помнишь, с китайской приправой?

Саня Найдин аккуратно вытер травой ложку, прикурил от уголька и стал неторопливо рассказывать.

— Как-то раз у Валков ночевали. В августе, помню, ночь те-е-мная! Ну, наладили, ясное дело, уху варить – рыбы, я вам скажу, завались, а крупы нет. Я тут и вспомнил, что у меня в лодке банка с рисом лежит. Что, говорю, мужики, рис пойдет? Пшено, конечно, отвечают, лучше, да на нет и суда нет, тащи свой

рис. Принес я банку и половину в котелок засыпал, а остаток под елку поставил. Сварилась уха, поели, все как полагается. Петька Чугунов, из Василева-то, «Чайка» у него японская, пошел котелок ополоснуть, чтобы чай, значит, заварганить. Вдруг бежит назад, глаза на лоб вылезли. «Ты чем, – кричит, – ты чем нас, гад, накормил?!». Не понял я сначала. «Как чем?» – спрашиваю. «Чего ты, придурок, в котелок засыпал?». Сам с кулаками приступает, знаете ведь его. «Рис, – говорю, – китайское блюдо». «Ах, блюдо! – кричит Петька, – я тебе покажу сейчас блюдо!». Тут мужики вмешались, интересуются. Петька им: «Он же нас, придурок несчастный, опарышами накормил!» Я так и обмер. Бляха, думаю, муха, у меня ведь и правда банка была в лодке с опарышами. Сунулся под елку, банку открываю – так и есть, опарыши! Сейчас, смекаю, наломают мне мужики бока. И наломали бы, да как тут начало нас всех наизнанку выворачивать, не до того...

— Врешь ты все! – сказал, посмеявшись, товарищ дяди Мити Федор, задиристый такой мужик в офицерской фуражке без кокарды.

— Чего мне врать? – усмехнулся хитро Саня. – Как было, так и говорю.

— Да ладно, эту байку по всему берегу рассказывают который год.

Саня согласно кивнул.

— Вот. С тех пор и рассказывают. Ясное дело.

— А чего же не говорят, что это ты был? – допытывался зануда-Федор.

— Я знаю? Не веришь, спроси у Петьки, он подтвердит.

— Ага, буду я твоего Петьку по всему Василеву искать! Балабон ты, Саня, выдумал тоже – опарыши! Вот ты мне лучше скажи...

Тут Федора перебили:

— Ты чего пристал к человеку? Не любо – не слушай...

— А мне, мужики, говорили, что это Саня был, – поддержал кто-то из темноты.

— Ну вот. Дальше-то что, Сань?

Эту историю я слышал уже раз десять, но все равно смешно. И я смеюсь, глядя в бархатное небо, усыпанное звездами, которые расплываются от слез в моих глазах. Ну, насмешил Саня!

А кругом ночь, теплая, душная даже. В траве стрекочет невидимый кузнечик. Я придвинулся к отцу.

— Пап, я искупаюсь?

— Вроде не жарко.

— Ну, пап...

— Ладно, только по-быстрому и далеко не заплывай.

Отец, зная, что я плаваю, как рыба, никогда и нигде не запрещает мне купаться, наоборот, бывало, до берега еще далеко, а он заглушит мотор и приказывает:

— Марш за борт! Плыви!

Мне только того и надо: хлебом не корми – дай покупаться. И я плыву, а отец на лодке рядом. Наверное, поэтому я совсем не боялся воды. Отец рано на-

чил меня плавать, помню, я в школу еще не ходил, а залив наш возле пристани, довольно широкий, уже переплывал.

Искупаться ночью да еще в незнакомом месте – об этом можно только мечтать! Я хотел позвать с собой Витька, но он уже заснул, пригревшись у огня. «Ладно, пускай спит», – подумал я и пошел к берегу.

Сложив одежду на корягу, я вошел в воду. Вода была очень теплой, и на ней лежал широкий лунный столб. Единственное, чего я не люблю при купании, так это заходить в воду. Толи дело бултыхнуться с лодки солдатиком или головой вперед! А тут еще дно – вязкое, илистое. Я лег на воду, прямо в мерцающий лунный поток, и поплыл.

Плавать по ночной реке здорово! Кто пробовал, тот со мной согласится. Кругом тьма-тьмушная, внизу под тобой черная вода, а сверху звезды, как угли горят. И тихо, только вода поплескивает под руками... Легко и свободно, будто и не плывешь совсем, а летишь к звездам. Вот они, близко, стоит протянуть руку...

Я повернул назад и все по той же лунной дороге поплыл к берегу. Там ярким пятном среди тьмы горел костер, высвечивая лица рыбаков и бросая на них отблески, отчего лица казались незнакомыми и таинственными. На мгновение сердце мое сжалось, как это бывает, когда лодка, поднявшись на крутую волну, падает потом вниз. Я не понял, что произошло, но в этот миг я знал, что вот ЭТО никогда больше не повторится: костер, люди возле него, среди них отец, и эти звезды над черной водой, и лунная дорога, по которой я плыву... Нужно запомнить, обязательно запомнить... И еще, что все ЭТО я видел уже когда-то...

Как порыв ветра: сжалось сердце и отпустило. И когда отпустило, я уже ничего не знал, я забыл о том странном чувстве, которое чуть коснулось меня, словно птица крылом. Только где-то глубоко в груди осталась заноза малая, неошутимая до поры.

Я попрыгал по песку, вытряхивая из ушей воду, и рысью побежал к костру. Правда, на полпути остановился и, сам не понимая зачем, оглянулся назад. Лунный столб матово светился на черной воде.

ЗОЛОТОЙ ЛИНЬ САНИ НАЙДИНА

Всякий знает: поймать на удочку линя – это уметь надо. Да и умения одного тут мало, самое главное, нужна удача, а она, известно, улыбается не каждому. Мне так, например, очень редко. Наверное, поэтому я ни разу линя и не поймал. А вот как другие ловили эту редкую, капризную, рыбу мне видеть доводилось. Те, кому удача. Вот как Саня Найдин, например. Про Саниного линя стоит, пожалуй, рассказать. Выпало чудаку рыбацкое счастье, ничего не скажешь.

Саню у нас в поселке всякий знает. Несмотря на свои сорок с лишним лет, он выглядел как парнишка и был большой шутник и балагур. Всё время с ним какие-нибудь истории приключались: он затевал всякие предприятия, попадал впросак, бывал битым, обманутым, но не унывал и опять, сломя голову, кидался в новое приключение. Такая у него неуёмная натура была.

А главное – Саня до страсти любил рыбалку. Он заводил переметы, вен-теря, сети – их снимали, выбирали рыбу, а то и снасти уносили – Саня ставил новые. Ловил он и «пауком», и на дорожку, и спининговал, и дергушкой баловался, но больше всего прочего уважал поплавочную удочку. У него имелся набор бамбуковых удилищ – предмет его гордости и нашей мальчишечьей зависти. Развернёт их, бывало, вдоль борта своей лодки веером – загляденье! Удилища прямые, лёгкие, гибкие – не чета нашим березовым да ольховым, хоть и просушенным на солнце, а всё же тяжёлым и неуклюжим.

В конце мая ранним утром, когда солнце ещё не взошло, а над водой курится белый пар, отправились мы на рыбалку, как у нас говорили, – «на ту сторону», то есть к противоположному берегу водохранилища: отец, я, Саня и сын его Витёк, мой ровесник.

— Эй, мужики! – крикнул нам с дебаркадера матрос дядя Петя, и голос его гулко покотился над тихой водой. – Чего в такую рань? Али из дому выгнали?

— Ранняя птица больше корму клюёт! – отозвался Саня, заводя мотор.

Мотор не заводился. Саня во весь голос вспомнил всех родных, близких и даже святых, но его «пускат» кашлял, фыркал, издавал всякие немыслимые звуки, а заводиться не хотел.

— Не проснулся ишо! – сказал с дебаркадера дядя Петя.

— Щас мы его разбудим! – Саня с головой нырнул в ящик, покопался там, потом выпрямился и резко дёрнул ремень.

Громко чихнув, мотор заработал.

— Во! – крикнул Саня дяде Пете. – Дело мастера боится. Давай, Николаич, – повернулся он к отцу.

Наша «Стрела» завелась сразу, и лодки одна за другой вывернули из залива в водохранилище.

У Сани лодка была побольше нашей и ходила под стационарным мотором. Такой мотор устанавливается возле кормы и закрывается сверху двумя створками, образуя тем самым с боковыми стенками своеобразный ящик. Мне всегда

казалось это удобным – не надо мотор домой таскать, но у нас был мотор подвесной – «Стрела» и его приходилось носить от лодки к дому на плечах.

Берег за кормой удалялся, будто истаивал, – сначала дома исчезали за деревьями, а потом и деревья слились в одну сплошную ленту. Зато противоположный берег нарастал, всё чётче вырисовывались стволы сосен, а над ними разливалась по небу заря. Мы плыли навстречу восходящему солнцу. Погода была безветренной, на глади водохранилища, как ни старайся, – морщинки не увидишь.

Поставив лодки на якорь друг против друга в небольшой заводи, берега которой густо поросли осокой, а из воды то там, то тут торчали крупные листья кувшинок, стали забрасывать удочки. Мне отец дал одну, и я с ней быстро управился. Напротив нас Саня возился, раскладывая свой бамбуковый веер. Соединительные трубки поблёскивали на солнце, а Саня насаживал на крючок червя, смачно плевал на него и закидывал удочку, приговаривая:

— Ловись рыбка, большая и ма-а-ленькая!

Было так смешно смотреть на его возню и слушать монотонное бормотание, что я не сдержался и прыснул в кулак. Отец строго посмотрел на меня, но ничего не сказал. Я отвёл взгляд от Сани и уставился на неподвижно застывший на воде поплавок. Прошло сколько-то времени, и раздался приглушённый Санин голос:

— Ишь, паразит осторожный!

Таким голосом говорят только в одном случае – если клюёт. Мы с отцом стали смотреть на Санины поплавки. Витёк привстал на корме и показал пальцем на один из поплавков.

— Вон, на той удочке, гляди!

— Сядь! – сдавленным шёпотом сказал Саня.

Я увидел, как один из Саниных поплавков закачался, чуть наклонился и замер, потом затанцевал, и от него побежали лёгкие круги. Саня встал и взял удилище в руки.

— Давай, пап, тащи! – шептал Витёк.

— Учи учёного, – ответил Саня. – А то я не знаю, когда надо. Там у меня не один червяк, а пяток, – кисточка, значит. Пускай, паразит, заглотит как следует.

Поплавок успокоился и долго стоял неподвижно.

— Всё, ушёл, – огорчённо сказал Саня, но тут поплавок опять заволновался. – Нет, гляди-ка, тут ещё!

— За траву, наверно, задевает, – предположил отец.

— Не, скорее, ершишка теребит. Таскает за концы, их там вона сколько!

Так продолжалось минут десять-пятнадцать, не меньше. Наконец Санина выдержка увенчалась успехом: поплавок начал медленно и как бы неохотно тонуть.

С криком: «Я тебя, паразит!» – Саня сделал подсечку. И сразу же его удилище выгнулось дугой. Мы затаили дыхание.

— Отпусти! – крикнул отец. – Санька, отпусти, дурень! Понизу тащи, порвёт!

Саня ничего не слышал. Его добыча не металась из стороны в сторону, как это делает язь, не выпрыгивала из воды, как голавль – боролась спокойно и тяжело.

— Сань, а может зацеп? – спросил отец.

— Не. Чувствую живину.

— Лещ, наверно. Здоровый, видать, чертяга!

Вот Саня подтащил рыбину к лодке, подсачил и поднял на воздух. Сквозь ячею тускло блестело.

— Николаич, – с придыханием выговорил Саня, – линь!

— Да ну!

— Точно. Гляди, какой...Патриарх!

Он вытащил рыбину из подсачника и бережно уложил на крышку ящика. С нашей лодки было хорошо видно, как линь лежал и бок его горел на солнце – темно-зеленый с золотым.

— Линёк, – говорил Саня, ласково поглаживая гладкий бок рыбины, – красавец такой... Царь среди рыб. Слышь, Николаич, правду говорят, что линь – самая вкусная рыба? А то, конечно, правда.

Линь лежал спокойно, даже не дёргался. Он был большой, очень большой, толстый, с тёмной спиной и жёлтым брюхом.

— Золотой ты мой, – приговаривал Саня, – ненаглядный! Обдурить Саню Найдина хотел. Не-е-т, не вышло, Саня сам, кого хошь... Вот и попался...

И тут... Линю, видно, надоело слушать обидные Санины речи? и он, собрав все силы, ударил хвостом по ящику. Что произошло в следующее мгновение, я понял не сразу. Выскользнув из Саниных рук, линь пал за борт, а Саня, привскочив от неожиданности, ринулся вперед и повалился следом за линём в воду.

Все мы, включая Витьку, хохотали до слёз, пока Саня выбирался из воды в лодку, перепутав все удочки, пока, чертыхаясь, он снимал с себя одежду, выжимая её, и развешивал по бортам лодки. Потом он сидел, скукожившись, совершенно голый и распутывал лески. Какое-то время он молчал, а потом закурил и сказал:

— Да разве линь – рыба? Поросёнок, а не рыба! Точно ведь, Николаич?

— Ну, поросёнок – мясо хоть куда, – ответил отец.

— Не, – Саня аккуратно заплевал окурок и бросил его в воду. – Я свинину вообще не люблю.

Солнце зашло за облако и медленно плыло в нём, жёлтое, как Санин линь. Ну, здоров был, ничего не скажешь! Больше такого видеть мне не доводилось.

БУРЯ

Мы заночевали на Малой гриве. Перед рассветом я проснулся от холода. Костер почти погас, с реки дул сильный ветер, было слышно, как волны с шумом катились на берег и разбивались на песчаной отмели, где стояли наши лодки. Взрослые уже встали, сутились, раздувая огонь.

Видать, буря разыграется, - заметил старик Багров, ночевавший у нашего костра.

Саня Найдин переломил о колено толстый сук и сказал:

— Что, Егорыч, кости ноют?

Старик ничего не ответил. Все замолчали и повернули головы в сторону реки, откуда доносился шум волн.

Я толкнул спящего Витька, он проснулся и удивленно захлопал глазами.

— Ты чего?

Буря будет, – шепнул я.

Витек, выбравшись из-под плаща, пополз ближе к костру.

— Порыбачили, значитца, – проворчал Саня. – Встретили зорьку.

Рассвело, и сквозь мутную мглу стало видно, как Волга поднялась, будто вспухла, и по ней гуляют беляки. Мы спустились по песчаному обрывчику к лодкам.

— Ясно, – сказал Егорыч, глядя на волны, – затяжной.

Что такое «затяжной», я не понял, но ничего хорошего такое слово не обещало, это уж точно. Отец положил мне на плечо руку.

— Домой? – спросил он.

Мне возвращаться не хотелось.

— Может, утихнет?

— Едва ли. Надо возвращаться.

К нам подошли Саня Найдин с Витьком.

— Лучше пересидеть, – сказал Саня. – Рыба, спички есть.

— Юго-западный дует, – возразил отец. – Это надолго.

— Пап, давай останемся! – я посмотрел на Витька, и он затянул ту же песню.

Отец молчал, глядел на небо и волны.

— А мать что подумает? – сказал он, наконец, и мне нечего было ответить. Я представил, как мама смотрит в окно на беляки и волнуется за нас. Хорошо Витьку, у него мать уехала в санаторий, дома некому волноваться. Значит надо назад.

— Собираемся, – коротко бросил отец и пошел к костру за вещами.

Саня, недовольно покачивая головой, отправился за ним следом. Мы с Витьком переглянулись с кислыми минами и поплелись вверх по песчаному откосу – делать нечего, надо собираться. А жаль. Вот бы остаться здесь, на островке посреди водохранилища и увидеть настоящую бурю не из окошка! Страшно, но интересно.

Старик Багров и еще один рыбак, ночевавший с нами у костра, остались на берегу, а когда мы закидали свои пожитки в лодку, Егорыч подошел к отцу.

— Зря ты, Николаич, — сказал он хмуро. — Переждать вернее.

— Проскочим, — сказал отец и стал толкать лодку, глубоко увязшую днищем в песке.

Егорыча поддержал Саня Найдин:

— Правда, слышь... Опасно с ребяташками-то.

— А тут не опасно? Того и гляди, волна гриву накроет.

Сплюнув на песок, Егорыч развернул отвороты на сапогах, словно собирався лезть в воду, но в воду он не полез, а пошел к своей лодке и стал подтягивать её дальше на песок, чтобы волной не унесло. Саня поглядел на реку, на сутулую спину старика и сказал, почесывая лоб:

— Я, Николаич, это ... останусь все-таки.

— Дело твое, — ответил отец.

— А может, и ты?

Отец посмотрел на меня. Я молчал, стуча от холода зубами.

— Нет. Прыгай в лодку! — отец ободряюще мне улыбнулся и сказал Сане. — Помоги-ка столкнуть.

Вдвоем они легко приподняли нос лодки и столкнули ее на воду. Отец сел за весла, развернул лодку против волны и стал отгребать от берега. Я оглянулся. Мужики стояли на отмели, среди них Витек, такой маленький и тихий, что мне стало его почему-то жалко. Я вспомнил слова отца, и мне представилось, как волны поднимаются все выше, заливают гриву, и она исчезает под водой, вроде древней Атлантиды, о которой я читал книжку. Все погибнут, и Витек тоже. Последний человек из Атлантиды.

— Витек! — дальше я не знал, что сказать и крикнул. — Пока!

— Пока! — отозвался он и помахал рукой.

Тем временем мы отплыли от берега на приличное расстояние.

— Ну-ка, сядь за весла, — кивнул мне отец, — держи на волну, не давай ей развернуть лодку. А я мотор заведу.

Мотор завелся с первого рывка, и лодка пошла навстречу ветру.

Скоро фигурки людей на гриве, да и сама грива исчезли из глаз, но об Атлантиде я больше не думал, не до того было. Крутые волны доставали до бортов лодки, едва не захлестывая её. Вода плескалась совсем близко, холодная, серая, вспененная ветром.

— Теперь держись! — сказал отец, крепче натягивая на лоб кепку. Он вел лодку так, что она шла наперерез волне, и катящиеся навстречу валы поднимали и опускали её равномерно. Я сидел, вцепившись в борт, и считал волны. Девятая должна быть больше других. Но подсчет не получался — все волны были одинаково большими.

— Главное, чтобы волна в бок не била, а то может перевернуть, — объяснил мне отец.

Я молча кивнул.

— Не боишься?

— Нет.

— Ну и ладно. Не дрейфь, проскочим!

Но мы не проскочили. Вскоре ветер усилился, небо потемнело: чернильно-грязная туча наползла с юго-запада, и вот прямо над нами сверкнула длинная стрела молнии. Минуту спустя прокатился трескучий гром. И началось! Волны, будто посходили с ума — они закипели вокруг лодки, потеряв всякое направление. Хлынул дождь, и молнии вспыхивали так часто, что раскаты грома слились в сплошной несмолкающий грохот.

Если честно, грозы я и раньше боялся, причем не молнии, а грома, вот такого именно — остро-трескучего, который небо, словно на части раскалывает. Жуть! Хочется забиться куда-нибудь, спрятать голову и не слышать этого оглушительного треска.

А тут куда спрячешься?! Мы попали в самый центр урагана. Вокруг бушевала стихия: с неба падали потоки дождя, они смешивались с брызгами волн, ставших еще круче и обрушивающихся на лодку со слепой яростью, словно хотели разбить ее по дощечке и разметать по всей Волге. Ветер свистел и стонал, а в те минуты, когда лодка падала с волны, мотор ревел дико.

— Ложись на дно! — крикнул мне отец.

Я посмотрел на него. Он сидел, пригнувшись, обеими руками держал рукоятку мотора и вглядывался в серую хмарь, обложившую нас плотной завесой. По его лицу стекали струи воды, и оно было чужим.

— Ложись! — повторил он, крепко сжимая губы.

Лодка то взмывала в воздух, то проваливалась вниз, ударяясь об воду. Бух! И потом снова — бух!

Кое-как расстелив на дне намокший брезентовый плащ, я лег лицом вниз, а руками уцепился за копани над сланью.

Под сланью плескалась вода и остро пахло рыбой. Сверху гремело, а днище лодки, на котором я лежал, с такой силой ударялось об воду, что мне казалось: вот сейчас доски не выдержат, дно треснет, и мы окажемся в воде, среди этих бешеных волн. От таких мыслей стало страшно, и я старался думать о чём-нибудь другом, но ничего не получалось.

Гроза не утихала. Я зажмурил глаза, но всё равно и сквозь закрытые веки видел ветвистые молнии, выраставшие, точно деревья от воды до неба. Так продолжалось долго, казалось, что лодка стоит на месте, и мы боремся с волнами целую вечность, но вот, наконец, перед нами вырос, как темная стена, берег.

— Иди ко мне! — прокричал сквозь шум отец.

Идти я, конечно, не мог, пополз на четвереньках по дну лодки, ваяясь то на один, то на другой бок.

— Испугался? — отец смотрел мне в глаза.

— Не... Немного.

— Ничего, всё теперь позади.

Я кивнул головой.

— Слушай, сейчас подойдем к берегу и тебя высажу здесь...

— Куда?

— На берег, куда же ещё!

— За... зачем?

— Пойдешь домой.

— Как? — спрашивал я, всё ещё не понимая, что задумал отец.

— Так, — ответил он, — пешком, по берегу.

— А ты?

Отец вытер рукавом лицо.

— А я всё тем же Макаром. Лодку ведь тут не бросишь, верно? Волной разобьёт. Понимаешь, мы наперерез шли. Вот. Теперь надо вдоль берега. Бензин скоро кончится, я потихоньку на вёслах, а ты беги, мать успокой.

— Я с тобой!

— Нет, это долго. Берегом скорее, да и согреешься.

Я чувствовал, что спорить с ним бесполезно и согласно кивнул головой.

Подойти к берегу оказалось не так-то просто, хотя здесь было заметно спокойнее, чем на середине водохранилища. Отец заглушил мотор и сел за вёсла. Удерживая лодку на волне, он подвёл её к песчаной косе, и я выпрыгнул на берег. Ноги дрожали, и земля качалась подо мной, будто я всё ещё находился в лодке, падающей с гребня волны вниз. Я сел прямо на песок.

— Ты что? — долетел до меня голос отца.

— Ноги не держат! — крикнул я и попытался засмеяться, но ничего не вышло. Отец, наверно, меня не слышал и махнул рукой.

Дождь почти кончился, чуть моросил, и гроза осталась где-то там — вдалеке ещё вспыхивали изредка молнии и глухо ворчал гром. Мутные волны относили лодку от берега. Отец развернул её и стал грести, изо всех сил налегая на вёсла, мотор уже не заводил. Лодка челноком ныряла с волны на волну и, казалось, совсем не двигалась с места.

Отдохнув немного на мокром песке, я встал и почувствовал, что под ногами уже не плывёт. Нужно было идти. Дорогу я знал: отец посадил меня у Крестовского залива, сюда мы часто ездили на рыбалку. Я полез вверх по крутому склону, хватаясь руками за мокрые, скользкие ветки краснотала. Поднявшись на откос, оглянулся: внизу до горизонта, насколько хватало глаз, лежала огромная чаша водохранилища, сплошь покрытая белыми гребнями волн.

Раньше я как-то не замечал, что водохранилище такое большое. Или, когда виден противоположный берег, оно кажется меньше?

Я отыскал взглядом возле берега лодку и в ней отца. Такими маленькими и одинокими казались они отсюда на фоне бескрайней воды, что у меня защемило сердце, как тогда, когда мы отплывали с гривы. Я дал себе слово больше не смотреть на лодку и зашагал по откосу в сторону нашего поселка. Идти предстояло вдоль Волги километра три.

И все же я не удержался: не пройдя и десяти шагов, оглянулся еще раз, но лодки уже видно не было. Тогда я вздохнул поглубже и побежал вперед по мокрой траве, слизывая с губ летящие навстречу дождевые капли.

ЗА ОКУНЯМИ

Как-то в начале апреля мы собрались на Валки за окунями. Это Витёк нас сагитировал: всю неделю в школе соловьём заливался, какие на Валках ловятся окуни.

— Во горбачи! – говорил он, тараща глаза и разводя ладони так, что между ними запросто уместилась бы книга Гоголя, которая стоит у нас дома на этажерке. Огромная такая книга, тяжеленная, среди других книжек, как великан. Таких окуней, пожалуй, и не бывает совсем.

— Под нашим берегом окунь, какой? – убеждал нас Витёк. – Песочный – бледный по цвету и продолговатый. А там – тёмно-зелёный, горбатый. Здоровенный! Я сам видел... А как клюёт!

Ну, мы и клюнули. Никому из взрослых не сказали, конечно, а то кто бы нас отпустил на Валки, да ещё в апреле, когда лёд уже слабый: бур посильнее воткнёшь – провалился. Ну, это так говорят только, на самом-то деле он ещё достаточно крепкий, чтобы человека выдержать. Особенно наш бараний вес.

Целую неделю готовились: крючки на мормышках заточили, леску поменяли, мотылём свежим обзавелись. Мотыль в зимней рыбалке вещь главная, это всякий знает. Вот только, где его взять? Как-то раз мы с Пашкой Рыжим ходили по прудам мыть мотыля. Целый день провозились, домой вернулись мокрые и грязные с ног до головы, а намыли – кот наплакал. Но, как говорит отец Витька, Саня Найдин, – голь на выдумки хитра. Был у нас верный способ добывания мотыля, причём мотыля хорошего, не размазную какую-нибудь. Едва ли кто из взрослых такого имел, – отцы и те у нас, бывало, разживались.

Вот что это за способ. На выходные дни к нам в посёлок наезжало множество автобусов с рыбаками из города. Они-то нас и выручали. Утром, бодрые и полные надежд, отправлялись они на лёд. Тут к ним никто не подходил, ждали. Ближе к вечеру, когда рыбаки тянулись с Волги – в плащах с обледеневшими полами, с тяжёлыми ящиками, усталые, пропахшие рыбой, с обгоревшими на солнце и волжском ветру лицами, навстречу им, откуда ни возмись, высыпала стая мальчишек. «Дяденька, дай мотыля!». И давали. Что им, жалко, что ли! Не везти же назад в город, вот и отсыпаят нам в спичечные коробки красных, жирных, живучих мотылей. Некоторые, правда, что пожаднее, отвечали: «Купи!» на этот случай у нас припасены полтинники, на школьных завтраках сэкономленные. Так или иначе, а мотылём мы запасались основательно.

В общем, подготовились мы к походу на Валки, дома сказали, что будем рыбачить под берегом и пошли: я, Витёк, Славка и Пашка Рыжий – у каждого ящик и один бур на четверых. Путь предстоял не близкий.

С утра подморозило, и снег весело повизгивал под ногами. Солнце только взошло, ещё не яркое, оно зависло над синей лентой заволжского берега. Туда нам и нужно было шагать.

Валки – так называлась когда-то деревня, попавшая под затопление. Теперь от неё не осталось и следа, но место, где она стояла, рыбаки заприметили – и зимой, и летом там рыба водилась – да так и звали – Валки.

Мы шли гуськом по тропинке, протоптанной в рыхлом снегу. Впереди маячили фигуры нескольких рыбаков, которые тоже, видимо, держали путь на Валки. За ними мы и решили держаться.

— Топай на солнышко и придёшь! – сказал Витёк.

— Да, топать-то нам будь здоров, – ответил ему Пашка Рыжий. – Валки во-он где, – и он показал рукой на чёрные точки, рассыпанные по белой поверхности льда. – Вишь, рыбаки скучились, там и есть Валки.

— Зато – рыбалка!

По пути мы говорили про большие уловы, про цветные места, где клевало, не переставая, и всё крупняк, про разные случаи, происходившие на реке с рыбаками.

— В прошлом году, – рассказывал, поминутно оглядываясь, Витёк, – тоже на Валках сидели мужики, а тут ледокол возьми да и пройди по фарватеру. Ну их и отрезало, кинулись – туда-сюда, а обратно хода нету.

— И что? – спросил Пашка.

— До плотины по той стороне топали, а там на автобусе.

— Иди ты! – не поверил Славка.

— Точно говорю. Вот не верит! Я сам слыхал, в бане мужики рассказывали.

— Там расскажут, только слушай!

— А че, – поддержал Витька Пашка, – запросто может быть.

Я молчал, потому что шёл последним и нёс бур. Скоро мне надоело перекладывать его с плеча на плечо, не такой уж он лёгкий, как поначалу кажется.

— Славка, – позвал я, – нельзя, что ли к буру ремень привязать, или верёвку какую-нибудь?

Бур был Славкиного отца, и Славка всегда брал его на рыбалку, потому что отец недавно купил новый, шнековый.

— А зачем? – отозвался Славка.

— Зачем-зачем! А затем, что сейчас тащили бы бур за верёвку по снегу, а не в руках.

— А-а.

— Вот тебе и «а». На, держи, твоя очередь нести!

Славка взял у меня бур и мне стало посвободней. Я оглянулся. Наш берег оставался позади; повсюду, насколько брал глаз, лежала снежная равнина, частью белая, покрытая крупными застругами, частью – где лёд подтаял – в синих заплатах промоин. Скоро пройдёт ледокол и тогда – прощай, рыбалка!

Меня всегда удивляло, как такая громадина – наше водохранилище – замерзает. Иной осенью так буквально за одну ночь реку льдом скуёт. Совсем здорово получается, когда в это время стоит ясная, без ветра и снега, погода. Тогда вся чаша водохранилища покрывается ровной, гладкой коркой, точно зеркало лежит многокилометровое. Каток, какой многим и не снился! Ну, мы ждём, конечно, пока лёд окрепнет, а потом на коньки и... кати себе хоть двадцать километров – ни выбоинки, ни трещинки, ни морщинки малой. Лёд тёмный-тёмный, почти чёрный, на нём какие хочешь вензеля коньками можно вы-

писывать, только пыльца белая летит. Убежишь подальше от берега, ляжешь на лёд вниз лицом и смотришь, смотришь, как сквозь стекло в таинственное подводное царство. Рыб, правда, не видать, просто завораживающая глубина, темень, пронизанная какими-то переплетениями, прожилками, застывшими пузырьками воздуха. Так бы и глядел без конца, не отрываясь. Потом ледяное зеркало заметало снегом...

— Тебя как отпустили? – шёпотом спросил Славка.

— С трудом, – ответил я. – К Пасхе готовятся дома-то. – Бабушка ночью в церковь ушла.

— У меня тоже. С вечера яйца красили.

— Ничего, мы ведь недолго.

На Валки пришли примерно через час. Там уже сидели рыбаки – десятка полтора. Мы потоптались возле одного-другого, перемигнулись, мол, клёв есть и стали бурить свои лунки. Вообще-то новых лунок мы не бурили, хлопотное это дело, да и зачем, когда старых кругом хоть отбавляй: они только чуть-чуть ледком затянуты, крутанёшь буром пару раз и готово – запускай удочку.

Я вычистил лунку от снежного крошева, уселся на ящик, слева положил на лёд пенал с мотылями, завёрнутыми в мягкую тряпочку, смоченную чаевой заваркой и достал удочку. Надо было решить, какую привязать мормышку. У меня всяких полно: и «капелька», и «дробинка», и «жучки» разные – треугольные, круглые, продолговатые, с чёрненькой головкой – жёлтые, красные, серебристые – на любой вкус. Я выбрал «дробинку» – верное дело.

Глубина на Валках, надо сказать, приличная – метров восемь, а то и побольше будет. Под нашим берегом куда мельче.

Достав мормышкой до дна, я убавил спуск, сделал натяг на кивок, положил удочку на край лунки и огляделся. Пацаны все сидели, ссутулившись над своими лунками. Только Витек бурил на новом месте, чем-то ему старая лунка не понравилась. Ну, он всегда такой – неумный, весь в отца, Саню Найдина.

Тем временем Пашка вытащил уже первого окуня, оглянулся на меня и сказал, сверкая зубами:

— Знай наших!

— С почином, – ответил я.

Так у нас все мужики говорят тому, кто поймал первую рыбину.

— А я что говорил! – крикнул Витек, все еще возившийся с буром. – Горбач, наверно?

— Да нет...

Тут подсек Славка, но безуспешно.

— Ушел! – огорченно сказал он.

Больше наблюдать я не мог. Схватив удочку, я стал медленно поднимать ее кверху, чуть покачивая кивок. Ключнуло как всегда неожиданно – словно током по руке дало. Я подсек – тут!

Эх, зимняя рыбалка! Чудо что такое! Хотя, сказать правду, и в любое время года рыбалка хороша, но зимой – на особицу. Не в лютые, конечно, морозы, нет, а так это ближе к весне – в марте, в начале апреля, по последнему льду. Солнце

уже теплое, пока сидишь, бывало, на льду, лицо и руки загорят крепче, чем летом на пляже. А кругом тишина, снег на ледяных торосах так искры и рассыпает, аж синие да золотые...А клев? Дернется кивок, и вместе с ним упадет сердце, так, что в груди холодно сделается. И подумать-то не успеешь, а уже подсек, тащишь, – в руке толчки упругие, живые – ага, зацепил голубушку! Давай-давай, не противься! А сердце так и прыгает, будто хочет через горло выскочить. То-то радости!..

Окунишка вылетел из лунки и заплясал на льду, изгибаясь и подпрыгивая. Мелюзга, граммов на сто, не больше. Такие и под нашим берегом ловятся. Этот, может, только цветом потемнее. До горбача ему бы еще расти и расти. Но дело не в том, все равно это был окунь, пойманный на Валках.

Клевало резво. И что хорошо – почти без срывов. Окунь, не теребя мотыля, глотал его с жадностью – оголодал, видно, к весне. Вытащить у него из глотки мормышку многих трудов стоило: приходится иногда, зажав в пальцах леску, ударять рыбу о край ящика, а в особо безнадёжных случаях, кидать ее со всего маху на лед. Тогда, с горем пополам, удастся достать мормышку, порой, правда, с частью окуневых внутренностей. Ну, что поделаешь – так окунь расплачивается за свою жадность. Жалости в такой момент не бывает, есть азарт: быстрее снять окуня с крючка, сунуть в ящик и опять запустить удочку в лунку, а то уйдет стайка – жди потом, дожидайся!

— Ты на какую ловишь? – раздался за спиной Славкин голос. Я и не заметил, когда он подошел.

— На «дробинку», – ответил я. От Славки у меня секретов не было.

— А-а...

— А ты?

— На желтую.

— Ну и как?

— Была пара поклевков, а потом как отрубил. Я выхватил из лунки еще одного окуня.

— Так привяжи «дробинку».

— Нету у меня, – голос у Славки был скучным, будто он лекарство выпил. – Отец, понимаешь, забрал. Сам, говорит, пойду. А у меня и была-то всего одна «дробинка»...

Я протянул Славке кусок поролон, в котором были наколоты мормышки. Их так удобно хранить: не теряются и каждая на виду – какую захотел, такую и отцепил запросто.

Славка взял мормышку и побежал к своей лунке. Сейчас обурят, подумал я. Тут уж так: заметят, кто на стайку напал, не успеешь глазом моргнуть, как под ящиком лунку сделают. Но клевало, значит, неплохо у всех, потому что никто со своего места не вставал.

Солнце стояло уже высоко. Припекло так, что многие рыбаки поснимали плащи, расстегнули ватники. Я сдвинул шайку на затылок, подставив лицо горячим лучам. На синем небе ни облачка – такое высокое, бездонное было это небо, что голова шла кругом, если долго глядеть. Но глядеть-то как раз особенно

некогда. Кивок на моей удочке резко дернулся вверх, а потом как-то медленно опустился, и я почувствовал в руке большую живую тяжесть, не успев даже подсечь. Будто гирию подвесили там, внизу. Леска зазвенела, как натянутая струна.

«Оборвет! Оборвет, паразит!» – крутилось в голове, а руки наперехват выбирали леску, не давая слабины. Это был окунь! Окунище, а не окунь – настоящий горбач, полкило, не меньше, а может, и больше. Я вытащил его на лед, и он стал прыгать возле лунки, ударяя по ледяному крошеву сильным широким хвостом, а я все хватал его непослушными пальцами и никак не мог ухватить. Наконец, мне удалось прижать его ко льду. Рыбина заглотила мормышку так глубоко, что достать ее было невозможно, сколько я ни бросал окуня на лед. Пришлось обрывать лесу.

Привязав дрожащими пальцами новую мормышку, на этот раз «капельку» – «дробинки» больше не оказалось – я насадил мотыля и скорее запустил удочку в лунку: а вдруг там стоя таких вот красавцев? Но поклевки не было. Я положил удочку и занялся пойманным окунем. В прорезь моего самодельного ящика он не входил. Что делать? И на льду его оставить нельзя – обурят в момент.

— Славка! – позвал я негромко. – Славка, иди-ка сюда.

Когда Славка подошел и увидел окуня, у него глаза на лоб полезли. Еще бы! Я и сам такого горбача первый раз в руках держал.

— Ну, крокодил! – восхищенно выдохнул Славка.

— Ничего, окунек, порядочный, – сказал я, будто всю жизнь только и делал, что ловил таких окуней.

— Окунь – за всю мазуту! А горб-то!

— Славк, положи его в свой ящик, а? В мой не убирается. Я у тебя потом его заберу.

— Ладно, – ответил Славка и, взяв окуня, поспешил к своей лунке, тоже, наверно, хотел такого поймать. Мне даже как-то жалко его стало и захотелось, чтобы и у Славки горбач клюнул. Ну, может, чуть-чуть поменьше только.

Но второго такого сегодня поймать никому из нас не удалось. Попадалась все больше мелочь да середнячок, а крупняк – как обрезало. В общем и целом каждый из нас четверых наловил килограмма четыре. Это считалось хорошим уловом, а для пацанов так и вовсе редкостью. Больше всех натаскал, как всегда, Пашка Рыжий, но зато мой окунь был вне конкуренции.

Часа через полтора, когда солнце уже перевалило за полдень, и клевать совсем перестало, мы собрались домой.

— Осторожно пойдем, – сказал Пашка. – Лед сейчас и сверху и снизу точит.

— Говорят, лучше по старым следам идти, – заметил Витек. – Они, будто, прочнее.

Славка хмыкнул.

— Ага, встанешь в старый след и айда под лед!

— Да ну! Старый крепче, он утрамбовался уже и подмерз, я сам слышал, в бане мужики говорили.

— Все-то ты в бане слышишь!

Так, конечно, там только про рыбалку и разговоров.

Назад шли так: Пашка Рыжий, за ним Славка, потом я, а позади Витек, которому выпало первому нести бур.

Обратная дорога, известно, всегда труднее. Ящики тяжелые, солнце печет, есть охота, аж под ложечкой поет, а берег, как нарочно, будто и не приближается.

Так мы протопали уже больше половины пути, когда Славка угодил в полынью. Сделал всего пару шагов в сторону и тут же провалился. Он медленно погружался в ледяное крошево, как-то особенно медленно.

— Славка! – я схватил его за плечи и потянул на себя.

Он оглянулся, и я увидел в его глазах страх.

— Чего вы там? – спросил за спиной Витек.

— Не подходи. Славка провалился!

Я уронил Славку спиной на тропу, и он перестал погружаться, лежал – половина на льду, другая – в полынье.

— Тяни его на себя потихоньку, – почему-то шепотом сказал Пашка.

— Тяну.

А Славка молчал. Я тянул его за пальто изо всех сил. Он был тяжелый, очень тяжелый, но все-таки понемногу подавался ко мне.

— Ты, Славка, лежи, – говорил я ему, задыхаясь, – лежи, Славка, и не дергайся. Не дергайся главное, ладно?

— Ладно, – ответил Славка.

Сзади пыхтел Витек.

— Дай помогу.

Но мои пальцы так крепко вцепились в Славкино пальто, что я не смог бы их разжать, даже если бы захотел, и все тянул и тянул его на себя, сидя на льду.

Я вытащил Славку на тропу, он встал на четвереньки и пополз вперед, а я еще какое-то время сидел и никак не мог опомниться. Мне все слышался сухой шелест льда в полынье, куда затягивало Славку.

— Вставай, пошли! – сказал Витек, тормоша меня за плечо.

Мы отошли от полыньи подальше и остановились.

— Вот так да! – вздыхал Славка, выливая из сапога воду. – А я и испугаться-то не успел.

— Ничего, – сказал я ему, – еще успеешь.

— Я говорил, по следам идти надо, – сказал Витек.

— Иди ты по своим следам!

— А чего ты, Славка, в сторону полез? Не полез бы...

— Да ладно тебе! – оборвал спор Пашка Рыжий. – Замерзнешь, Славка?

— Не, не холодно.

— Это пока не холодно. Сейчас прихватит на тебе одежду. Надо скорее идти.

— Ну, пойдём.

Я взял у Витька бур, и мы пошли, осторожно ставя ноги в старые заледевшие следы на тропе. И вдруг, когда до берега оставалось сотни полторы шагов, над водохранилищем раздался колокольный звон. Мы от неожиданности остановились. Звон наплывал с берега, веселый и светлый: дон-дон-дон, диби-дон-дон-дон...

— Елки-палки, пацаны, так ведь Пасха сегодня! – воскликнул Пашка.

— Точно, – отозвался Витек, – а я и забыл.

— Во, здорово!

Мы стояли на льду, усталые, голодные, и слушали веселый перезвон колоколов. Я знал, что это старается старик Багров – он у нас всегда в колокола звонит, больше никто так не умеет. Церквушка в нашем поселке маленькая, возле входа, по левую руку, два столба с перекладиной, а на ней штук семь колоколов – мал мала меньше – большой-то колокол с разрушенного храма на пожарную каланчу подняли, он там и молчит уже лет восемь.

Дон-дон, диби-дон-дон-дон... Я представил, как высокий, худой и сутулый старик Багров орудует веревками, привязанными к языкам колоколов. Сам смеется, любит он в колокола звонить. А они все выговаривают: дон-дон...

— Во наяривает! – восхищенно сказал Славка.

— Умелец! – откликнулся Пашка Рыжий.

— Звонкие, однако, колокола. Далеко как слышать.

— По всей Волге, пожалуй.

— Ну, не по всей уж!

— А че, до самой плотины, небось, раздается, точно...

Я смотрел на берег. На фоне густо-синего неба дома нашего поселка вырисовывались особенно четко. Каждый дом виден. И деревья возле домов, голые. И крутой обрыв, под которым летом стоит пристань. И даже фигурки людей около церкви на самом берегу. Все это было как будто пропитано яркой синевой и солнцем, по-весеннему горячим, ласковым и праздничным.

Христос воскрес!

Ранняя Пасха в нынешнем году. Колокола поют. Солнце рассыпалось по ледяной пустыне водохранилища на миллионы искр – глаза слепит. А надо всем этим, сверкающим сочными цветами миром, плыл-переливался колокольный звон. Он щипал сердце, и оно замирало в груди.

Христос воскрес!

Я смотрел на дома нашего поселка и не знал еще тогда, что именно таким, в искрящемся на солнце снегу, будет он сниться мне в будущей взрослой жизни, которая уведет меня далеко от родных мест.

А звон все не кончался, он плыл над Волгой, поднимаясь высоко в небо. Он не кончится никогда, этот звон. Он и сейчас звучит – и его слышит мое сердце – там, в светлом измерении, измерении добра и надежды, познания мира и Родины, в измерении, которое зовется детством. Это миг, застывший во времени навсегда.

Я, ВИТЕК И ДИК СЕНД

В конце августа после двухнедельных дождей наступили теплые солнечные дни. Ветра почти не было, слегка дул юго-западный, гнал от нашего берега волну. Такая погода – самое милое дело для рыбалки. Ну, окунь и пошел. Мы с обрыва наблюдали, с криком падали в воду, хватали малька, гонимого полосатым разбойником, а рыбаки на лодках воспевали за перемещающимися стаями. Кто тут устоит?

Да мы и не сидели. Но достать окуня с берега – трата времени, а на лодке нас одних на водохранилище не отпускали родители. С завистью мы смотрели, как мужики, уложив нехитрые снасти в лодку, выгребают из залива, заводят моторы и исчезают мысом на большую воду искать, где бьет чайка. Нам оставалось забрасывать поплавочные удочки с берега в надежде поймать обленившегося к осени карася.

Но вышел и на нашей улице праздник. Я сидел у дома и вырезал свисток из ивового прута, когда во двор ворвались Витек со Славкой.

— Завтра – на рыбалку! – не отдышавшись, выпалил Витек.

— Куда?

Славка опередил:

— На ту сторону. Отец Витька нас берет.

Сердце у меня затрепыхалось, как птенец в руке.

— Точно? – зачем-то спросил я у Витька, хотя знал наверняка, что точно.

— Батя обещал, – серьезно ответил Витек и сел со мной рядом на скамейку. – Так что готовь блесны.

Блесны у меня давно были готовы и лежали в жестяной коробке из-под чая – белые, желтые и две даже вроде как медные, с красноватым оттенком с наружной стороны. Целый год собирал, с прошлой осени, – какие-то у отца выпросил, пока он был дома, а другие выменял в школе на разные вещи. Две же медные честно выиграл в «чеканку» у Пашки-рыжего. Пашка страх как не хотел с ними расставаться, даже чуть не заплакал, когда их мне отдавал, но куда денешься – не надо было на кон ставить.

— У меня все в ажуре, – сказал я Витьку. – Хоть сейчас поехали.

— Нет, сейчас не получится. Мы тоже было со Славкой уговаривали отца поехать на ночь, да он ни в какую – холодно уже, говорит, не июль.

— А когда?

— Утром. Часов в семь к нашему дому приходи.

— Ладно.

Отпустили меня без уговоров, мать только сказала:

— Оденься потеплее, теперь на Волге холодно, особенно по утрам. Да возьми поесть чего-нибудь.

Я собрал в плетеную корзину две удочки-дергушки, банку с блеснами, моток запасной лески и два куска ржаного хлеба, которые полил подсолнечным маслом и густо посыпал солью. Поставил все это у дверей рядом с курткой и резиновыми сапогами, а сам попытался уснуть. Как бы не так! Я ворочался с

боку на бок, считал баранов и даже слонов, представлял, как мы будем ловить окуня, вспоминал кино «Три мушкетера», прочел главу «Пятнадцатилетнего капитана» – бесполезно, сон не приходил. Повертевшись так часа два, я не выдержал, встал с постели и вышел на улицу.

Августовское небо было полно звезд. «Вот когда надо в телескопы-то смотреть», – подумалось мне. Задрав голову, я стоял у поленницы и разглядывал висящие надо мной созвездья. Правда, кроме Большой Медведицы других я не знал, да и эту научился находить недавно. Тогда приезжал из города отец, мы поехали рыбачить с ночевкой, и он показал мне, как отыскать на звездном небе ковш и от него Полярную звезду. Он, помню, сказал:

— Был в древности такой народ – скифы, так вот они называли Большую Медведицу Повозкой Времени.

— Совсем и не похоже, – ответил я.

— Это как поглядеть. Да и не в похожести дело...

Отец и про другие созвездия мне рассказывал, только я все уже позабыл, вот про Повозку Времени только и помню.

Так смотрел я на звезды и вспоминал. А они искрились и подмигивали, а одна неожиданно сорвалась и покатилась по небу.

«Надо же было желание загадать!» – вспомнил я и стал ждать, когда упадет другая звезда. Вот она летит и чертит белый след по черному небу. Я скороговоркой шепчу заветные слова. Успел! Примета, говорят, верная, – успеешь загадать, как есть исполнится.

Вдруг зашумели листья на тополях за домом. Опять стихло. И опять шум листвы. «Только бы ветер не разгулялся». Не успел я так подумать, как щекой почувствовал волну прохладного воздуха. Ничего, ночью бывает, а под утро стихнет. Обязательно. Но ветерок упрямо дул, причем, разворачивался на север. Не утихнет, никакой рыбалки не получится, – в этом сомневаться не приходилось, разве поедет отец Витька с тремя пацанами, если волна поднимется? Ни за что не поедет. И мой отец не поехал бы. Один бы, может, и поехал, а так – нет.

Я вернулся в дом и на этот раз быстро уснул. Мне приснилось лазурное флибустьерское море, шхуна с «Веселым Роджером» на мачте, у штурвала одноголазый моряк, который кричал осипшим голосом мальчишке моих лет, карабкавшемуся по вантам:

— Дик Сенд! Свистать всех наверх!

Мальчишка спрыгнул с борта на палубу, поднес к губам висевший на груди свисток (почему-то из ивового прута) и дунул в него. Раздался не свист, а звон. Назойливый и противный, он тянулся и тянулся, казалось, ему не будет конца.

Будильник звенел так громко, что мог, наверно, мертвого разбудить. За окнами было уже светло, но солнце еще не встало. Наскоро перекусив, я схватил корзинку со снастями и выскочил на улицу. Ветер дул с севера, но не сильный. «Вот и ладно», – обрадовался я и со всех ног помчался к дому Витька.

Все были уже в сборе. Дядя Саша, отец Витька, наливал в канистру бензин.

— Погода мне не нравится, – сказал он. – Не знаю, стоит ли ехать?

— Стоит, дядь Саш, — проговорил Славка с уверенностью бывалого рыбака. — Ветер-то не сильный.

— Это пока, — возразил дядя Саша, — видите, направление изменилось? Может раздуться.

Мы все трое дружно стали убеждать дядю Сашу в обратном, мол, напротив, если с утра дует, потом успокоится.

Наконец, он с нами согласился и, махнув рукой, сказал, как Гагарин:

— Поехали!

Пожалуй, словам первого космонавта мы не радовались так, как дяди Сашиным.

Ветер, действительно, был не такой уж и сильный. Покачиваясь на волне, лодка хорошо бежала под «Ветерком», и вскоре мы были на месте у Зеленого Мыса. Дядя Саша посадил за мотор Витька, а сам достал бинокль и стал высматривать чайку. Мы со Славкой с завистью смотрели на товарища, двумя руками уцепившегося за рукоятку управления. На нас Витек не смотрел, по всему было видно — чувствовал себя капитаном пиратского брига.

— Ага! — раздался голос дяди Саши. — Вон она где!

Невооруженным взглядом чайку было не разглядеть. Отец Витька махнул рукой по направлению к берегу слева от Зеленого Мыса и сел за мотор. «Ветерок» громко заурчал, набирая обороты, и лодка, приподняв нос, понеслась вперед.

Чаек было не много, птиц пять-шесть, но кричали они за целую стаю, то и дело шлепаясь в воду за добычей. Дядя Саша разобрал спиннинг, а мы запустили по бортам дергушки. Вот и первая поклевка:

— Есть контакт! — кричит Витек и, отбросив удильник, быстро перебирает леску. Окунишка оказался так себе, поменьше ладони. Тут у меня клюнуло. Я подсек и тоже выдернул в лодку окунька. Он был, конечно, такой же, как у Витька, но мне показался куда больше. Вот и дядя Саша нашел контакт, тащит сразу двух: у него снасть такая — с двумя поводками.

Да, о спиннинге каждый мальчишка мечтает, но пока что эта мечта для нас остается мечтой и ловим мы на простые дергушки — удильник из можжевелевой ветки, а к нему леска с блесной, вот и вся снасть. Но когда окунь берет, и на такую наловить можно немало.

Минут пятнадцать мы бойко таскаем окуня, но вот чайки разлетелись, еще одна-две поклевки и все — стая ушла.

— Что ж, мужики, — говорит дядя Саша. — Не пора ли перекусить?

— Самое время, — поддержал отца Витек.

Я достал свои два куска хлеба, один протянул Славке, а он мне дал вареное яйцо.

— Ты сколько поймал? — спросил он.

— Не считал. Десятка-то два точно.

— И я, примерно, так. А ты, Витек?

— То же самое, — ответил тот, уминая за обе щеки белый хлеб с сыром.

Между тем ветер, действительно, раздувался сильнее и сильнее. Волна уже довольно крепко раскачивала лодку, и мы заметили это, как только прекратился клев, но вслух не говорили.

С севера потянулись низкие рваные облака. Стало прохладно.

Дядя Саша огляделся, покачал головой и сказал:

— Нет, ребята, так дело не пойдет. Будем поворачивать к дому.

Мы переглянулись.

— Ну, пап... – Витек посмотрел на отца.

— Никаких «ну». Поднимай якорь. У нашего берега посмотрим, может, там где чайка бьет.

Это нас несколько утешило.

Витек попытался поднять якорь, но у него ничего не вышло, видимо, как это нередко бывает, якорь тянуло илом, или он зацепился за корягу.

— Помоги ему, – сказал Дядя Саша, наматывая шнур на маховик.

Я ухватился за веревку рядом с Витьком. Лодка наклонилась, едва не зачерпнув бортом воды.

— Сядь к другому борту, – сквозь ветер крикнул дядя Саша Славке. – Уравновешивай.

Славка навалился на борт, и лодка выпрямил. Вдвоем с Витьком мы осилили тяжесть, и якорь, весь в илу, был поднят в лодку.

Мотор завелся, и лодка, ныряя с волны на волну пошла к нашему берегу.

То, что было на водохранилище, нельзя назвать бурей в прямом смысле слова, но волнение было рядное. Конечно, к вечеру разгуляется волна и на лодке уже едва ли выйдешь. Так что мы успели – порыбачили все-таки, а то кто его знает, когда еще у осень – пора ветров.

Я сидел спиной к ветру и смотрел, как удаляется Зеленый Мыс, значит, приближается наш берег, скоро будем дома. Мне и в голову не могло прийти, что дома я буду ой, как не скоро. Дядя Саша так ставил лодку, не била в борт, а разрезалась носом. Нас раскачивало и лишь изредка лодка шлепала днищем, когда попадала между волнами.

— Смотрите, катер! – раздался крик Витька, сидящего на лавке у носа.

Дядя Саша только кивнул головой – дескать, вижу, а мы со Славкой оглянулись. Действительно, от фарватера к нам двигался катер. Он был какой-то странный, я таких еще не видел: узкий, длинный, с тупым носом, на котором стояла какая-то конструкция – то ли буксир, то ли толкач.

— Чего он, ослеп там, что ли, ешкин нос! – ругался дядя Саша, пытаясь повернуть лодку чуть правее, но катер упрямо шел на нас.

Вот нас разделяет не больше ста метров. Наконец заглушили двигатель. То же сделал и дядя. Лодку несло прямо к судну, и мы уже могли рассмотреть его стальные борта. Тут я заметил стоящего человека. Он был в тельняшке с засученными рукавами. Ветер развеивал его волосы, а лицо, обветренное и дочерна загорелое, мне показалось суровым. «Прямо, морской волк!» – подумал я и тут рассмотрел, что у матроса вместо одного глаза белеет бельмо. Славка толкнул меня в бок и шепнул:

— Смотри, пират да и только!

— Ну! – с восхищением ответил я.

Тем временем лодку прибило к борту катера, и Витек придерживал ее в таком положении. Это было не просто, потому что волны швыряли оба суденышка, как игрушечные кораблики. Я, держась за борт, пошел Витьку на помощь.

— Слышь, друг, выручай, – тусклым больным голосом сказал одноглазый матрос.

— Чего у тебя? – крикнул с кормы дядя Саша.

— Ногу я сломал, – ответил тот, и мы увидели, он стоит, опираясь одной рукой на стенку рубки, а другой держится за борт. Левая нога матроса как бы висела, неестественно выгнувшись в колене.

— Ты что, один на катере? – спросил дядя Саша.

— Один, – сказал одноглазый, и мне показалось, что он застонал. – Пусти пацана на борт, он мне поможет довести посудину до причала.

— Как он тебе поможет, – дядя Саша вытащил сигарету и закурил. – Мои пацаны еще маловаты для этого.

— Я покажу, как управлять катером, дело не хитрое.

— Ну ты даешь! – покачал головой дядя Саша, мы с Витьком, не сговариваясь, полезли на катер.

— Куда?! – закричал дядя Саша, но было уже поздно. Лодку никто не держал, и ее сразу отнесло судна. Мы видели, как отец Витька встал и кричал нам что-то, но разобрать слова из-за ветра и шума было невозможно. Они о чем-то говорили со Славкой и махали руками.

— Не бойтесь, пацаны, я не обижу, – сказал матрос. Видно было, что разговор дается ему трудно.

— А мы и не боимся! – ответил Витек.

— Вот и ладно.

— А Вы – капитан? – спросил я.

Он посмотрел на меня единственным глазом и усмехнулся:

— Можно сказать и так. Капитан.

Волны качали катер не меньше, чем лодку. Да еще захлестывало водой всю палубу, а брызги летели аж до стекла рубки.

— А теперь, – сказал капитан, – возьмите меня под руки и помогите дотащиться до штурвала.

Мы подставили ему плечи, и он положил на них руки. Руки были мокрыми и испачканы кровью. Капитан оказался тяжелым, несмотря на свою худобу, и мы с трудом довели его до рубки.

— Ну, вот – тяжело дыша, сказал он, – сейчас заведем машину и я научу вас держать штурвал.

— А куда поедем? – спросил Витек.

— В город, – кивнул головой одноглазый и включил двигатель.

Мы переглянулись. Город находился от нашего села в шести километрах. Это, если по прямой, деревнями по дороге так все двенадцать будет. Здорово!

— Давай-ка, вставай за штурвал, – обратился ко мне капитан.

Я мигом хватился руками за рулевое колесо. Ви- рядом.

— Вот так. Видишь мыс впереди? – капитан стоял за спиной, держась за стенку. Правая рука его рядом с моей на штурвале. От него пахло рекой, рыбой и табаком.

— Вижу, – ответил я ему.

— Туда и держи по фарватеру. Дальше я скажу, делать. А ты, -- обратился он к Витьку, – помоги прилечь вот здесь у стенки и дай из бушлата фляжку... Там, в грудном кармане...

Говорить ему становилось все труднее. Я смотрел вперед, стараясь не обращать внимания на его безжизненную ногу в окровавленной брючине, из которой, как мне показалось, торчит кость.

Витек принес капитану солдатскую фляжку в изодранном чехле грязно-зеленого цвета. Тот взял ее и, отвинтив крышку, стал пить из горлышка, закинув голову и опираясь второй рукой в пол рубки.

— Вот так, – сказал он и протянул фляжку Витьку. – Закрой. Далеко не убирай, еще пригодится.

Едва одноглазый успел договорить, как голова его упала на грудь, и мне показалось, что он потерял сознание.

— Ну, дела! – протянул Витек, засовывая фляжку в карман куртки.

— Ничего. Как-нибудь справимся.

— Дай порулить? – Витек ухватился за штурвал.

— Вообще-то, капитан мне сказал стоять у руля.

— Да ладно. Он же не видит. А я немного порули и тебе отдам.

Я уступил ему место.

— Держи на мыс.

— Знаю.

Наш бриг по-прежнему врезывался своим тупым носом в волны, и вода заливала палубу. Мы шли по фарватеру, слева качался на волнах белый бакен, справа виднелось наше село с белой церковью на крутом берегу.

— Эх, – крикнул Витек, – жаль нас никто из пацанов не видит!

— От зависти бы потрескались.

— А то! Потом расскажем.

— Не поверят ни за что!

— Да, пожалуй...Скажут, выдумали.

Я подошел к капитану. Он лежал без движения, и единственный глаз его был закрыт.

— Слышь, Витек, – сказал я, – а может, он того, помер?

— Скажешь тоже. Лучше пульс у него посмотри.

— Ага, умный какой, а если он – покойник?

— Ну и что? Моряки покойников не боятся.

Аргумент был убедительный. Я осторожно взял запястье капитана и убедился, что рука его теплая... Под рукавом тельняшки от кисти до локтя синела татуировка – русалка с распущенными волосами, голой грудью и изогнутым, как у щуки, хвостом. Мне удалось нащупать пульс – он был сильным и частым.

— Живой! – с облегчением вздохнул я.

— Вот видишь. А ты заладил – покойник, покойник...

— Давай мне штурвал, хватит – порулил.

— Ладно, – неожиданно легко согласился Витек. – Скоро город, надо будет капитана поднимать.

Но поднять его оказалось совсем не просто. Сначала он вообще не реагировал на зов Витька, а когда тот стал трясти его за плечо, открыл глаза и непонимающе посмотрел на нас мутным глазом.

— Вы – кто? – прохрипел он, пытаясь приподняться, но застонал и опять закрыл глаз.

— Капитан, просыпайся! – громко крикнул Витек, склонившись к нему. – Скоро берег!

— Дай фляжку, парень, – тихим голосом сказал капитан и я увидел, как он стиснул зубы.

Глотнув из фляжки, одноглазый матрос посмотрел на меня:

— Мыс далеко?

— Нет, – ответил я. – Сейчас поравняемся.

— Так. Тут будет малость посложней. Пройдешь мыс, поверни штурвал влево, там залив. Не бойся, держи посередине, чуть-чуть левее и иди за пристань, где торчит кран. Там увидишь. Понял?

— Понял.

— А ты, – обратился капитан к Витьку, – как зайдем в залив и будет тихо, выходи на палубу и готовь чалку.

— Есть! – Витек вскинул ладонь к фуражке.

Все получилось так, как говорил капитан, мы успешно прошли залив и приближались к крану.

— Далеко до берега? – голос капитана стал опять тихим.

— Метров двести.

Он попытался встать, но едва шевельнулся и застонал.

— Слушай меня. Нажми вон ту кнопку и опусти вниз рубильник.

Я сделал, как он велел, и мотор заглох. Через пару минут мы ткнулись носом в бревенчатую стенку полуразрушенного дебаркадера. На берегу стояли два мужика, которые и приняли чалку у Витька.

Когда я, покачиваясь, вышел из рубки, один них в морской фуражке без кокарды удивленно спросил:

— Вы откуда, пацаны?

— Там у нас... – я махнул рукой, – там у нас раненый... Ногу сломал... Капитан...

Оба мужика, не говоря ни слова полезли на борт, а мы с Витьком спрыгнули на землю и повалились в траву.

Конечно, мужикам было не до нас. Они вытащили опять потерявшего сознание капитана на берег, уложили его на кусок брезента и понесли в сторону причала.

— А как же мы? – крикнул им вслед Витек, мужики даже не оглянулись.

— Ну? Что будем делать? – спросил он меня. Но откуда мне было знать, я и сам мог бы у него спросит, что делать?

Посоветовавшись, мы решили идти пешком по Большой дороге. Так путь хотя и был дольше, зато не заблудишься в лабиринте проселочных дорог и полевых тропинок от деревни к деревне, да еще оставалась надежда, что на большаке нас подхватит какая-нибудь попутка.

Только никакая попутка нас не подхватила. Машины пролетали мимо, да и понятно: зачем было останавливаться из-за двух бредущих по пыльной обочине пацанов? Такие пассажиры никому не выгодны.

— Часа за три дойдем, как думаешь? – сказал Витек, когда мы протопали уже не меньше трети дороги.

— Точно дойдем, – ответил я, – как пить дать.

— Кстати, ты пить хочешь?

— Хорошо бы.

Мы напились холодной воды из колодца в ближайшей деревне. Колодезный журавль был тяжелым, не как у нас в деревне, где жила моя бабушка. И бадья осклизлая, – мы ее еле подняли вдвоем. Зато вода была – первый сорт, вкусная и холодная, аж зубы ломит. Мы еще и умылись ей на всякий случай, чтобы усталость прошла. Но она прошла ненадолго, все же сказывался этот нелегкий для нас денек.

— Хорошо бы еще и поесть, – сказал я.

— Не знаю, – Витек задумчиво покачал головой. — Есть-то, конечно, охота, но если поешь, так вообще не дойдешь.

— Пожалуй. Да нам это и не грозит... А тебе чего хотелось бы?

Витек ответил не сразу. Он, наверно, представлял, как сядет за стол, а на столе...

— Щей горячих, вот чего я хочу, – сказал он уверенно. — А ты?

— А я малосольный огурец с черным хлебом.

Запах и вкус малосольного огурца был настолько явным, что я сглотнул слюну.

— Вот придем домой, – начал Витек и не договорил. Из-за поворота навстречу нам вывернула машина нашего председателя, мы ее прекрасно знали – желто-зеленый «УАЗик». Не доезжая до нас, машина остановилась, из нее вышли дядя Саша, моя мать и сам председатель Валентин Петрович.

— Ну и влетит нам сейчас, – сказал Витек, останавливаясь.

— Да уж...

Но не влетело. Мать расплакалась, а дядя Саша молча взял Витьку за плечо и повел к машине. Только Валентин Петрович проговорил с укором:

— Что же это вы, гвардейцы, родителей-то напугали?

Ни я, ни Витек не сказали ни слова. Дома я сказал матери, как все было. Она слушала молча, сидя напротив меня и подперев ладонями подбородок.

— Понимаешь, мам, – говорил я, жуя жаре картошку с малосольным огурцом, – понимаешь, у него нога была сломана вот так, – я показал, как у капитана была сломана нога, – а вместо глаза – бельмо. Он вообще на пирата был похож... А волны, знаешь, волны так прямо и захлестывали палубу...

— Ты ешь-ешь, не говори, пока не прожуеть, – наконец улыбнулась она.

— Если бы не мы с Витьком, кто бы ему помог? Понимаешь? Тут раздумывать некогда... А капитан бы погиб, наверно...

— Слава Богу, все хорошо закончилось, – сказала мать и погладила меня по голове. – Я испереживалась, конечно, но, знаешь, сынок, поступай всегда так.

— Как?

— Как сердце подскажет. Это порой тяжело, но зато – по совести. А сейчас ложись, отдыхай, умучился ведь, дурачок...

В эту ночь мне не снились ни флибустьерское синее море, ни пятнадцатилетний капитан Дик Сенд. Во сне подо мной качалась палуба, и ее заливали злые, холодные волны в клочьях белой пены, а за спиной я слышал хриплый голос одноглазого капитана:

— Право руля, парень. Так держать!

Да, я и забыл сказать про свое желание, ну, то, что я загадал ночью, когда падала звезда. Я загадал тогда, чтобы поймать много крупного окуня. Не вышло. Вот и верь после этого в приметы!

ВЫСОКАЯ ГРИВА

Ёе было видно с нашего берега в ясные дни, когда не висело зыбкое марево, и над Волгой не висело зыбкое марево, и даль просматривалась резко, с какой-то особенной четкостью. Помню, мы стояли с отцом на краю обрыва, внизу с шумом о камни волны, с криком проносились над водой чайки, а густо-синяя чаша водохранилища сверкала в солнечных лучах.

— Смотри туда, – говорил отец, показывая рукой на противоположный берег, темной лентой протянувшийся по горизонту.

Я до боли вглядывался в даль. Казалось даже, что различаю стволы сосен на том берегу.

— Не вижу.

— Лучше смотри и увидишь. Вон туда, левее бакена...

И я увидел. Узкая полоска, почти незаметная на фоне берега. Высокая грива. Так назывался небольшой островок – крайний в цепочке таких же, но безымянных, растянувшихся на одной линии и представлявших некогда, до затопления, своеобразные холмы на более или менее ровной местности вдоль старого русла Волги. Вода окружила их со всех сторон, превратив в острова, поросшие густой травой и низкорослым кустом. Острова эти, особенно Высокая грива, служили рыбакам своего рода ориентиром.

— Ага, – говорил рыбак, – вот Высокую перевалили, теперь до Кривого бора рукой подать, – и поворачивал руль круче вправо.

А ещё Высокая грива, как самый крупный из островов, становилась людям пристанищем в непогоду, когда разыграется волна и переправляться через водохранилище опасно.

Помню, было мне тогда лет девять-десять. Стоял конец мая. У мальчишек, да и у взрослых, разговору что о сорожке – кто, сколько и где поймал. Отец уже несколько раз возвращался с реки с хорошим уловом. А я проводил послешкольное время с удочкой возле мостков, где женщины полоскали бельё. Было обидно и очень хотелось поехать с отцом на настоящую рыбалку.

Наконец, он поддался на мои уговоры.

Что за клёв был в тот день! Мы едва успевали менять муравьёв на мормышках – сорожка, крупная, икрная, хватала слёту.

С самого утра солнце пекло нещадно, я несколько раз прыгал за борт, плавал вокруг лодки, а отец мочил свою старую кепку и надевал, мокрую, на голову. По-моему, она моментально высыхала. Но после полудня подул с юго-запада ветерок, небо затянулось тучами. Все чаще поглядывал отец на потемневшую, всю в белых гребешках поверхность водохранилища, хотя в заливе, где стояла наша лодка, было совсем тихо.

— Клёв клёвом, – наконец сказал он, – а погода портится. Надо возвращаться. Как бы грозу из «гнилого угла» не притащило.

Мы смотали удочки и подняли из воды камни, служившие якорями.

На большой воде всюду гуляли «беляки». Бух! Лодку поднимало волной и с силой ударяло днищем воду. Бух! Бух! При каждом падении, когда винт вырывался из воды, мотор дико ревел. Брызги окатывали нас с головы до ног.

— Страшно? – крикнул с кормы отец.

— Нет! – помотал я головой, а сам изо всех сил вцепился в борта лодки. Было страшно и вместе с тем как-то по-особому весело до замирания сердца.

Наша «Стрела» дотянула до Высокой гривы и заглохла. Отец сел за весла, а я вычерпывал консервной банкой воду, – ее уже изрядно набралось под стланинами. Лодку перестало бить о волны, она, как утка, плавно поднималась и опускалась с одной на другую, но с места, как мне казалось, не двигалась.

На гриве можно было разглядеть лодки и людей. Кто-то махал нам рукой.

— Разгулялась матушка, – сказал отец.

— Что?

— Волга, говорю, разгулялась. Заночуем на гриве.

Я, честно признаться, был этому рад.

— Что делать, – сказал я как можно равнодушнее, – давай заночуем.

Никогда не забыть мне той грозовой ночи на Высокой гриве. Стемнело быстро. Пролился короткий, но сильный дождь. Гроза отступила в сторону, но почти до утра прорезали темноту дальние молнии – то прямые, мгновенные, то ветвистые, как бы застывающие в небе, и гром, трескучий, а иногда глухой, угрожающий, прокатывался над Волгой.

У костра собралось человек десять таких же, как мы неудачников, не успевших вовремя переправиться на свой берег. Булькала в котелке уха, было мокро и холодно. Но до жути интересно. Огонь высвечивал лица людей, а там, дальше, за песчаной косой в черной непроглядной тьме тяжело ухали неутрахающие волны.

Среди ночи я увидел сквозь дремоту возникшего на фоне костра высокого человека в длинном, до земли плаще и форменной фуражке. Это был инспектор рыбоохраны Власов – гроза всех местных рыбаков, в особенности тех, кто баловался сетями. О нем ходили легенды. Рассказывали, будто Власов служил во время войны в «СМЕРШе», а другие шептались, что он был палачом в сталинских лагерях.

Власов стоял по ту сторону костра, и я видел его худое лицо в красных отблесках. Голоса рыбаков смолкли. Наступила напряженная тишина. Но длилась она недолго, а может быть, я на какое-то время неожиданно заснул и проснулся, когда уже шел спор между Власовым и стариком Багровым, первейшим в округе рыбаком, которого все звали Егорычем.

Я плохо понимал тогда, о чем они спорят. Было немного не по себе от резкого тона этого большого незнакомого человека с лицом морского разбойника, и я поближе подвинулся к отцу.

— Все, что поймали, то и наше, – говорил Егорыч, сидящий по-турецки у самого огня.

— Так ведь, небось, сетями поймали-то? – спросил Власов.

Все знали, что Егорыч никогда не ловил сетями.

— А тебе что? — с насмешкой в голосе вопросом на вопрос ответил старик.

— Как что? — Власов снял фуражку и стряхнул с нее воду. — Как это что? Я тут власть.

— Водяной тут власть, — буркнул Егорыч. Кто-то из рыбаков хмыкнул. А Багров поднял голову и поглядел прямо на Власова. Тот грозно засопел:

— Меня тут власть поставила, понял?!

— Как не понять! — Егорыч поплевал на ладонь и затушил об нее окурок. — Власть, значит? Что же это твоя власть сначала реку испохабила, а теперь оберегает? От кого? Вон от Саньки Найдина, что ли, как бы он сотню лишних со-рожек не поймал?

Саня Найдин, отцов товарищ по рыбалке, полулежал тут же у костра.

— А я чего? — откашлялся он. — Я — на удочку...

Но Власов на него и не посмотрел.

— Ты что несешь, старик? — загремел он. — Ухи много съел? Это кто реку испохабил?

Егорыч усмехнулся.

— Снявши голову, по волосам не плачут.

— А яснее?

— Куда уж яснее! Была река, а теперь, вишь, — болото.

— Какое болото? — Власов надел фуражку. — Говори, да не заговаривайся. Я ведь быстро на тебя управу найду.

— Ищи. Ищи свою управу, — невозмутимо отвечал. — Ты это умеешь. Только про рыбу меня не пытай. Отчета тебе давать не буду. Я на реке сыз-мальства и не таких грозных как ты видывал, не испугаешь.

Власов оглядел всех сидящих у костра и сказал коротко:

— У кого сетки обнаружу — гляди.

Так же внезапно, как пришел, он растворился в темноте. Взревел мотор, но скоро звук его потонул в шуме волн.

— Фьют! — присвистнул Саня Найдин.

Больше видеть Власова мне не доводилось. Рассказывали, будто прибило однажды его лодку к берегу, через неделю только нашли, когда уж он распух так, что и опознать труп было трудно. Может, лихой человек встретился, а может, буря тому виной — на реке бывает!..

...Второй раз я провел ночь на Высокой гриве лет пять спустя. Мы приехали туда с друзьями и остались. Грива показалась мне много меньше — берег был не так крут, песчаная коса вообще исчезла, от густого кустарника осталось несколько чахлах кривых березок, так, что мы едва набрали дров для костра. Словно рука смерти коснулась уже острова. И всю ночь кричала, кружась над костром, дикая утка...

Кроме нас на гриве никого не было, да и откуда — в хорошую погоду рыбаки сюда не заезжают.

...Многое изменилось с тех пор: люди, дома, берега водохранилища (слово это казенное не прижилось и за полвека, и все говорят по-старому — Волга). Вот и храм на яру ожил — поднялись в небо маковицы куполов, засверкали на синем

фоне золотом. Только не тянет по весне с берега резким запахом смолы, не горят там костры и не собираются у огня балагуры-рыбаки. Не смолят теперь лодок – сначала катера бегали реке, а теперь и их редкий раз увидишь.

И только по-прежнему ядовитой зеленью тает в июле вода, и запах тины разносится далеко по берегу. Прав был Егорыч – болото! Красивое, но бесполезное. Памятник человеческому безумию и гордыне. А Высокой гривы давно нет – её поглотило хранилище.

Так зачем же я до боли в глазах вглядываюсь в даль, сверкающую на солнце? Что надеюсь там увидеть?..

ЕГОРЫЧ

Стоял конец мая. Солнце припекало по-летнему. На смородиновых кустах как-то скоро, за одну ночь, на Пахомия-бокогрея, поголубели кисточки. Отнерестилась сорожка, ждали густеру.

Ждал и старик Багров. Зимой его крепко прихватила болезнь, он думал, что уже не поднимется, но ближе к весне хворь отпустила Егорыча, он стал выходить на берег, сидел на бревнах, глядя вдаль – туда, где ровное ледяное поле водохранилища сливалось с небом. Потом пришла пора смолить лодки.

Костры на берегу. Смолой остро пахнет. Мужики конопатят свои плоскодонки, густо намазывают днища кипящим варом. Выходят на берег даже те, кто приобрел дюралевые катера и кому, казалось бы, делать тут нечего.

Егорыч любил это время. Не торопясь, просмолил свою лодку, спустил ее на воду. Вскоре и сорожка пошла. Но он опять приболел. И поэтому пропустил нерест. Теперь ждал густеру. И дождался.

— Поеду я, Катерина, — сказал утром жене. Та только кивнула. Правда, потом вышла за калитку и глядела вслед Егорычу, пока его сутулая спина не скрылась за поворотом к обрыву.

У ветлы, чуть повыше тропинки, сидел на земле Федор Чугунов, старый приятель Егорыча. При виде товарища лицо Чугунова, сморщенное, обгоревшее на солнце, растянулось в широкой улыбке и стало похоже на сушеную грушу. Федор приподнялся с травы, отряхнул висевшие мешком на его тощем теле брюки и заговорил скороговоркой:

— А-а, старая беда! Выбрался? Молодец, такое дело. Однако сорожку-то проспал!..

Спускаясь по тропинке следом за Егорычем, он сыпал словами, словно боялся, что не успеет сказать всего, что накопилось.

— Эх, сорожка-то как шла, Егорыч! Отродясь такого не видывал, истинный Бог. Жалко, ты хворал...

Сдвинув слани на один борт, Егорыч принялся отливать из лодки накопившуюся воду.

— Было дело!.. — продолжал Чугунов. — Ты послушай только. Я на старом острове ночью зыбил. Десятков восемь, а то и больше нацедил. — Пряча в темных ладонях пламя спички, он закурил: — А крупны ж были черти! Самца, растуды его в коромысло, тянешь из ячеи, а он, гад, шершавый, ровно терка. Чуть придавишь — из него так и льет!..

Загремела цепь. Где-то на горе в кустах краснотала залаяла собака, и слов Чугунова на какое-то мгновение не стало слышно.

— ... вот я и говорю, что зря. Сорожняк отошел, а густера, смекай, того, рано еще ей. — Федор вдруг нагнулся ближе к Егорычу, заговорил шепотом, но так же быстро: — А слышал я, шалят будто опять с сетками-то... Во! На Хорева грешат. На Витьку. Слышь, выкормыш-то твой? Говорят, сетки чужие не только щупает, а и того — фю-ють — и поминай, как звали. И рыбка, и сетки. Так-то...

— Ладно, Федор, бывай, — сказал Егорыч и оттолкнулся веслом от берега.

— Ну, погляди, погляди, — заторопился Чугунов и неожиданно добавил. — Я бы и сам это... Да племянник, растуды его в коромысло, лодку взял. С вечера еще уехал. Жду вот, такое дело.

Ветра не было. Огромным выпуклым зеркалом сверкала в лучах солнца гладь водохранилища. Старик греб жадно, словно соскучился по веслам. Фигурка Чугунова на берегу становилась все меньше и, наконец, совсем исчезла.

Как только глаза перестали различать разбросанные по крутому склону дома, он поднял над головой весла и, выпрямив спину, вздохнул полной грудью. Пахло рекой.

Вся жизнь Егорыча прошла в этих местах. Дальше райцентра он нигде не бывал. Даже во сне ему всегда виделось одно и то же: бледные речные дали, барашки волн, стаи чаек, развешанные на кольях для просушки сети, белые гривенники чешуи, прилепившиеся к черным бортам лодки. Еще приходили к нему в сон запахи — то смолы, то рыбы, то застоявшейся воды. Все это сливалось для старика в одно понятие — Река.

А реки давно уже не было. Захлестнули грязно-зеленые волны водохранилища и русло ее, и заливные луга, и древнее село на берегу — Светлые Ключи, куда в незапамятные времена пришел из-за Волги охотник и рыбак Панкрат Багров — дед Егорыча.

Поставил дом, женился. Промышлял охотой да рыбалкой, и сына Егора к тому же приохотил. И все было бы ладно, да словно рок навис над мужской половиной дома Багровых. Как-то в июле возвращался Панкрат с охоты, и ударила в него молния — так и помер. В том же примерно возрасте — семидесяти годов от роду — покинул земную юдоль и его сын, тоже смертью загадочной и страшной. Уехал на рыбалку за Волгу — и как в воду канул. Нашли его неделю спустя мужики в лесу, лежащим под стволом могучей сосны. Крепкий сук, разворотив грудь, прочно приколот Егора к родной земле.

Младший Багров, кормившийся, как и предки, охотой и рыбалкой, жил в Светлых Ключах, которые стояли теперь на возвышенности. Вот уже полвека жил он в дедовском доме с Катериной. Детей им Бог не дал. Взяли на воспитание сироту Наталью. Вырастили — она и упорхнула в город, к старикам навещалась раз в два-три года — одна, без мужа. Поживет недельку-другую, да опять исчезнет. Егорыч уж и лицо-то ее забывать стал — так, что-то расплывчатое, в ушах золотые мормышки...

...С юго-запада потянул ветерок. Вода подернулась рябью. Поглядывая на небо, Егорыч скинул пиджак, намочил водой кепку и, слегка отжав ее, снова надел на голову.

«Однако ветер-то из «гнилого угла», — подумал он. — Дождика, поди, не миновать».

Он уже почти пересек наискось водохранилище и приблизился к группе небольших песчаных островков (или, как их называли, грив), которые тянулись вереницей вдоль берега, разделяя водохранилище на две неравные части.

Ветер тем временем все крепчал. Небо затягивалось хмарью, а с юго-запада, из угла, который все рыбаки называли «гнилым», выползла тяжелая грязно-серая туча. «Этак без рыбы останусь», — думал Егорыч, притабивая

левым веслом, чтобы повернуть лодку к островкам, поросшим чахлым кустарником и густой травой. То тут, то там из воды торчали торфяные кочки, словно каштановолосые головы. Повернуть бы назад, но будто какая-то сила (а может, это было просто упрямство и гордость: как же, Егорыч, да без улова!) толкала старика, и он продолжал грести. Ловко провел лодку между двух островков и оказался в рукаве, отсеченном от большой воды гривами. Когда-то, до затопления, тянулось здесь знаменитое болото – Маура. А дальше в глуби леса стояла деревенька, откуда была родом Катерина. Перед войной сосватал ее Егорыч и перевез в своей лодке через реку на свой берег – в Светлые Ключи.

Обогнув песчаную отмель, старик повел лодку в Глубокий залив, куда, он знал, часто заходила густера на нерест. В любую непогоду здесь было тихо и спокойно.

Посреди залива покачивался катер под «Вихрем». В нем сидели трое мужиков: двое выбирали сеть, третий – лысый толстяк в сетчатой майке – держал весла. В одном из тех, что тянули сеть, Егорыч узнал Виктора Хорева и сразу вспомнил слова Чугунова.

Сидящие в катере заметили Егорыча. Хорев выпрямился во весь рост. Худое загорелое лицо его выражало растерянность. Грести старик перестал, и его лодка, двигаясь по инерции навстречу катеру, ткнулась носом в металлический бок. Толстяк придержал ее за борт.

— Здоров живешь, Егорыч, – сказал Хорев. На крутой скуле его блестела прилипшая рыба чешуйка.

— Мое вам с кисточкой, – в тон ему ответил старик, оглядывая из-под насупленных бровей сидящих в катере. Двое были ему незнакомы. Толстяк в майке смерил Егорыча маленькими глазками-буравчиками, которые прятались в отвислых щеках. Третий, «спортсмен», как сразу назвал его про себя старик, потому что одет он был в синий спортивный полинялый костюм, – отвернулся, и лица его Егорыч не увидел.

— С уловом, что ли? – усмехнулся Хорев.

— Какой там! На большой воде – беяки, бестолково. Хотел вот в Глубоком пошарить... Вот у вас, видать, улов!

На дне катера стояли три корзины, доверху наполненные рыбой. В носу валялись спутанные мокрые сети. К ним-то и приглядывался старик.

Хорев заблестел зубами:

— На уху, может, и хватит.

— А то!.. Сетью-то, Витек, сподручней.

Хорев не ответил, посмотрел только на сидящего на корме «спортсмена».

Лодки мирно покачивались, прижавшись друг к другу бортами, – неуклюжая деревянная и новенькая металлическая.

Хитрить старик не умел и поэтому спросил напрямик:

— А что, Виктор, сетка-то у вас своя? Аль чужую щупаете?

Толстяк так и привскочил.

— Ты что, старый хрен! – голос у него оказался тонким, каким-то бабьим. – Очумел, что ли?

— Не суйся, куда не просят! — глухо сказал Хорев. На худом лице его вспухли желваки. Было непонятно, к кому обращены сказанные слова — то лик Егорычу, задавшему вопрос, то ли к толстяку, вмешавшемуся в разговор. Так или иначе, а толстяк замолчал. Хорев угрюмо посмотрел на Егорыча.

— Правду, слышь, парень говорит. Давай-ка, вали своей дорогой.

«Парень» согласно хмыкнул.

— Ты мне дороги на реке не заказывал! — с обидой в голосе произнес Егорыч. — Ты щенком еще был, а я рыбу здесь ловил уже. И я тебе вот что скажу: меня отец-покойник учил: того, кто из чужих капканов дичь выбирает, по голове, как хорька, бить надо...

— Те-те-те-те! — опять вмешался толстяк. — Давно, дедушка, тут плаваешь? Ну, молодец. Плавай и дальше спокойно. Немного ведь осталось... плавать-то, так что понимай!

— А я, Витя, — не слушая, продолжал Егорыч, обращаясь по-прежнему к одному Хореву. — Я, Витя, не верил, что про тебя болтают... Я ведь из тебя рыбака сделал... А ты меня пугать?

— Ладно, ладно, Егорыч, не шуми. Чай, сам сетками-то, было время, баловался, — примирительно сказал Хорев.

— Было. Было, Витя, такое время. Баловался. Только наказ родителей не забывал, чужого не трогал.

— Кончай бакланить! — раздался с кормы резкий окрик до сих пор молчавшего «спортсмена».

Старик повернулся на голос, но спортсмен, прикуривая, закрыл лицо ладонями, и Егорыч заметил лишь пустой взгляд по-рыбьи холодных глаз да большое, во всю щеку, багровое родимое пятно. Неприятное, гадливое даже чувство возникло у Егорыча от этого взгляда. Какую-то тоску он ощутил — и словно под ложечкой засосало. Но лишь на мгновение. Он посмотрел на волосатую грудь лысого толстяка. Бульдозьи щеки того отвисли, в глубине глаз затаились недобрые огоньки.

Старик сплюнул за борт. Хорев сделал то же самое.

— Вот что, Егорыч, — сказал он, — ты вали-ка отсюда подобру-поздорову. Да прошу тебя, — голос его угрожающе дрогнул, — прошу тебя, — повторил он, — язык-то за зубами держи...

— Ты меня не учи, не учи, Витя. Сам знаю, когда собаку с цепи спускать. Так что и ты понимай.

С громким криком над лодками пролетела чайка. Егорыч привстал, чтобы оттолкнуться от катера, и в тот же миг страшный удар по голове повалил его на дно лодки. Ему показалось, что старый мерин Васька, на котором они в войну возили из артели в город рыбу, наступил ему на затылок своим тяжелым мохнатым копытом.

Сколько прошло времени, старик не знал. Очнувшись, он сразу вспомнил все, что случилось, и потому оставался лежать неподвижно на дне лодки лицом вниз, прислушивался. В щеку и висок плескала теплая вода из-под слани. Совсем близко говорил «спортсмен»:

— Ты, Хорь, отведешь лодку за гривы. Понял? Старика — в воду. Тихо, говорю я! А лодку его перевернешь. Волна-то вон как разыгралась. Сечешь?..

Егорыч облизал пересохшие губы, попытался сосредоточиться, но удавалось это с трудом, мысли все уплывали куда-то, становясь тягучими и зыбкими.

— А, Рябой, — продолжал «спортсмен». — Ну, ты, не куксись, дура! Что сделано, то сделано, назад не воротишь. Сейчас высажу на берег — дуй на место, сворачивай палатку. Будем уходить.

— Да ведь это Егорыч! — каким-то не своим, придушенным голосом произнес вдруг Хорев.

— А по мне бы хоть и Сидорыч. Пускай рыбам про нас рассказывает. По мелочи гореть не в моих правилах.

«Ишь ты, горячий какой! — думал Егорыч. — Поглядим еще! — Он попробовал незаметно высвободить затекшую руку. Боль пронзила все тело. Перед глазами поплыли зеленые и оранжевые пятна. — Крепко он меня веслом-то огрел, однако, — старик не сомневался, что ударил «спортсмен». — Ничего, оклемаюсь... А Витька-то, гаденыш!..». Старику стало обидно и горько от мысли о Хореве, но и эта мысль уплыла куда-то в розовое море. Вспомнилось неожиданно, как однажды он втащил на обрыв бревно, которое четверо мужиков поднять не могли. Как это тогда Чугунов сказал? А-а... Как-то он здорово сказал... Было дело. Да. Но тогда он был молод, и внизу возле лодки стояла Катерина. Молодая. Стояла и смотрела на него.

Катерина... И старик увидел вдруг склонившееся над ним лицо жены.

— Егорыч! Егорыч! — словно откуда-то издалека донесся до него голос Хорева. — Чё ты, Егорыч, а? Ну, чё ты?

Старик открыл глаза. Красный туман качался, наплывая. Сквозь этот туман проступило лицо Хорева. Белая чешуйка по-прежнему блестела на кирпичной скуле.

— Ты держись, Егорыч. Держись, ладно! Я сейчас вот поудобней тебя устрою. Я мигом. Ты, Егорыч, не думай. Не думай, слышишь...

Но старик уже не слышал. Волны густого красного тумана заливали его. На мгновение он увидел крутой берег, белый камень, вросший в песок, себя в лодке. Будто сидит он, подняв весла, и стекают с них золотистые струйки воды. А вдоль песчаной косы, под обрывом, бежит Катерина, за ней следом, припадая на одну ногу, торопится Чугунов.

«Что это они? — подумал Егорыч. — Куда бегут?» — И тут услышал голос Катерины, зовущей его:

— Ива-а-ан!

Ее лицо оказалось совсем близко, и старик увидел на щеках жены слезы. «Ты что плачешь?» — хотел спросить он, но губы, спекшиеся от жары, разлепить не смог.

Внезапно лицо Катерины отодвинулось в сторону, раздвоилось, закачалось, поплыло и, кружась, понеслось куда-то вверх. И оттуда, сверху, где ярко горел зеленовато-оранжевый круг, раздался ее молодой звонкий голос:

— Ива-а-ан!

«Катя!» – хотел изо всей силы крикнуть Егорыч, но вместо крика с губ его сорвался едва слышный шепот.

А голос Катерины все звенел и звенел, взмывая все выше и выше, в бездонную синь неба, и, наконец, совсем растаял.

— Ка-тя, – прошептал по слогам Егорыч. Он еще почувствовал, как остро пахнет дно лодки рекой и рыбой, а потом леса, соединявшая его сознание с миром, лопнула.

КОЛЬКА РУДАКОВ - РЫБАК ИЗ РЫБАКОВ

За всю свою жизнь я тонул два раза. Не то, чтобы уж совсем тонул, но отдать Богу душу, как говори! бабушка, запросто даже мог. Особенно первый раз, у моста. Было мне тогда года четыре, а может, пять, но запомнилось все хорошо, до самых мелких деталей. Например, какая была спелая земляника. Только глаза стоит закрыть, тут же вижу красные пупырчатые ягод – такие нежные, что стоит чуть прижать одну языком к нёбу, как она растекается, наполняя рот тонким приторным вкусом!

Ну, про землянику потом. В тот день мы с отца отправились на лодке за травой на гривы. Полную лодку, по самые борта и даже с горкой, навалили свежей травы. И вдруг, откуда ни возьмись, подходит лодке Колька Рудаков. Как он оказался на гриве посреди водохранилища, я так до сих пор и не знаю, потому что лодки, кроме нашей, нигде не было видно, с неба, что ли упал? Подходит это он, значит, как всегда, вразвалочку, в вечных своих болотных сапогах, завернутых под коленками наподобие мушкетерских ботфорт, в грязной майке, на голове кепка козырьком назад.

— Здорово, – говорит, – мужики! – И руку протягивает отцу, а потом мне, как взрослому.

Поздоровались. Гляжу я, а у Кольки под левым глазом фингал с картошину, не меньше, фиолетовый, так и отливает на солнце, а на другой щеке кровь. У меня аж дух захватило.

Тогда я еще не знал, кто это такой, Колька Рудаков. А надо сказать, что он в те времена, да и потом, когда я подросток, был предметом восхищения всех мальчишек на берегу. Рыбак, браконьер, хулиган бесшабашный, он жил на реке и рекой. Пропахший смолой, рыбой и солнцем, бродил Колька в свободные дни по селу, задирали мужиков, заигрывал с бабами и нам, мальчишкам, давал закурить из алюминиевого портсигара с изображением кремлевской башни на крышке. От него так и веяло какой-то первобытной свободой, вольностью. Позже, наслушавшись бабушкиных песен про Стеньку Разина и сказок про его чудесные клады на берегах Волги, я представлял Кольку хранителем разинских сокровищ и даже одним из лихих есаулов былинного атамана. Однажды мы со Славкой даже выслеживали его, надеясь узнать, где спрятан клад. Должен быть под старой развилистой сосной. Колька и правда пошел к сосне, но не один, а с какой-то девчонкой, нам хватило ума догадаться, что в этот вечер он едва станет проверять сокровища и потому слежку прекратили.

Короче говоря, нам, мальчишкам, на рыбака хотелось походить во всем.

О чем Колька с отцом говорили, я не знаю, но назад с гривы мы поплыли вместе. Колька сел за весла, а мы устроились на копне свежей травы. Мне тут нравилось – сверху было интересно глядеть на воду, пенящуюся у бортов лодки, на сидящего спиной Кольку, который уверенно работал веслами, так что мышцы его играли под грязной майкой. А главное, в траве было великое множество земляники! Я выбирал ее, наполняя ладонь, а потом отправлял в рот. Когда меня сейчас спрашивают о счастье, я вспоминаю лодку, медленно плывущую к родному берегу по зеркальной полуденной воде, улыбку отца, загорелую спину

Кольки и яркие огоньки земляники в еще не просохшей свежескошенной траве, которая пахнет рекой и солнцем.

Так мы приплыли к берегу и стали заворачивать в залив. Лодка, груженная травой, тютельница в тютельница прошла под мостом. Но в этот момент я и свалился с копны в воду. Как это произошло, не помню, только, что вода была холодной и мутной – наверное, открыл глаза от страха, хотя, кажется, и испугаться-то не успел.

Снова солнце и лодка, а я барахтаюсь на руках у Кольки, который хохочет во все горло:

— Ну, пацан, теперь ты мой крестник!

Оказывается, это он моментально среагировал на мой полет сверху и, не успев я полностью погрузиться в мутные воды залива, ухватил меня за ногу. Хватка рыбака была железная, благодаря чему я был возвращен из подводного царства на столь радостный белый свет.

Потом, когда бы Колька Рудаков ни встреча меня на пути, он приветствовал меня словами:

— Здоров, крестник! Как живешь? Тонуть больше не собираешься?

Я, разумеется, не собирался, но довелось. И что удивительно – опять спас меня ни кто иной, Колька Рудаков. И не только меня, потому что нас было пятеро.

Случается в наших краях такая осень – тихая солнечная, безветренная – просто чудо! И продолжается эта дивная погода довольно долго – до самого ноября. А потом, неожиданно, в одну ночь, как грянет мороз, и за пару дней скует водохранилище, затянет его ровным, чистым, как зеркало, молодым ледком, который день ото дня крепнет, пока не станет, наконец, надежным покровом нашего рукотворного моря до самой весны.

Но на водохранилище сразу не выйдешь – лёд ту еще тонковат, зато в заливах уже держит. Гнётся, трещит, но держит. А нам только того и надо – уже гоняем шайбу от берега к берегу, а каток под нашими коньками волнами ходит. Солнце, первый снежок, воздух морозный – красота! Жаль, не замечаешь этого в детстве, только потом вспоминается с легкой грустью. Впрочем, мы в любом возрасте не успеваем за временем и оцениваем событие, когда оно уже прошло. Ну, раз так устроено, значит, и надо.

По странной случайности, случилось все опять у того же моста, но с другой стороны. На льду нас много собралось. Пацаны постарше стояли у берега, сбившись в кружок, курили, поглядывая, чтобы кто из взрослых не засёк. Был среди них вреднящий такой мальчишка, звали его Сережка Косой. Сколько мы от него претерпевали в школе и на улице и не скажешь. Дня не было, чтобы кого-нибудь из младших он не обидел. Да и делал он все как-то особенно зло и больно.

Набегавшись на коньках, мы стояли кучкой на льду поодаль от старших. Лёд тут был, конечно, значительно тоньше, чем у берега, и потому собираться на нем больше двух не стоило. Я стоял рядом со Славкой, который только что снял коньки с валенок. Гляжу, к нам стрелой летит Косой. Подбежал, да как топнет по

льду, а сам в сторону отскочил, ну, схрупало, и лёд под нами разошелся. Как было нас пятеро, так все в воде и оказались, а я в самом центре.

Каким образом мои приятели выбрались из пролома, я не знаю. Помню только, как вынырнул я на поверхность, вижу, что в полынье один, бултыхаюсь, хотел воздуху глотнуть, ноне успел – снова под воду ушел. Плавать я тогда еще не умел, а коньки на ногах затяжелели, ко дну тянут. Только до дна не достаю, руками-ногами колочу, чтобы вынырнуть. До этого непонятно было, что происходит, а тут страх пришел, и я воды хлебнул.

Выскочил из воды, воздух глотаю, а за лёд зацепить не получается. Вот тут и возник, как из-под земли Колька Рудаков. Я и не видел его, только, когда вынырнул в очередной раз, почувствовал, как железная рука ухватила меня за воротник и потащила кверху. Стуча зубами не столько от холода, сколько от волнения, я сел у берега на снег и стал стаскивать коньки. Пацаны стояли вокруг и молчали, все понимали, чуть не утонул. Краем глаза я увидел, как Колька сгреб Косого за грудки и приподнял над землей. Какое-то время он подержал его, замершего от страха, в воздухе, а потом поставил на ноги и сказал негромко, но все слышали:

— Хреново ты, парень, кончишь!

Колька развернул Косого спиной к себе и дал такого пендаля, что тот полетел кубарем по склону, врезался в лежащую кверху дном лодку старика Багрова. Поднявшись на ноги, он помчался сломя голову и вскоре исчез из глаз.

— Беги домой, крестник! – сказал мне Колька и не говоря больше ни слова, пошел вразвалочку к мосту.

Угадал ведь есаул – Сережка Косой плохо кончил. Лет десять спустя, по пьянке сунулся в щиток и его сразу насмерть убило электричеством. А сам Колька вскоре попал в тюрьму, как говорили, за сопротивление милиции, которая хотела отобрать у него сети, может, и не за это. Вольный был человек, что с него взять!

В село он не вернулся. По слухам, после отсидки уехал в Сибирь добывать золото в Бодайбо. Конечно, куда еще деваться разинцу в наше мирное время?

ПОЛЫНЬЯ

И тогда наступила тишина. Андрей отчетливо слышал сухой шелест размываемого водой льда. В полынье, западая на один бок, качалась шапка Петровича, похожая на большой поплавок. Течением тащило ее под лед, но она, зацепившись за острую кромку, вздрагивала, точно живая, и все держалась на поверхности. Но вот она исчезла.

Андрей судорожно вздохнул. Из горла вырвался звук неожиданно жалкий и тонкий.

Некоторое время Андрей продолжал лежать на льду, прижавшись щекой к углу своего ящика. Потом с трудом поднялся. Все тело сотрясала дрожь, руки и ноги казались распухшими, плохо повиновались. И он не мог понять – от холода это или от того ужаса, который только что пришлось пережить.

Он огляделся. На реке – ни души. Сгущались сумерки. Из-за островов налетали порывы жгучего ветра. Мокрый плащ покрылся ледяной коркой. Нужно было возвращаться в деревню, но он все стоял, растерянno обрывая намерзшие к рукавам плаща кусочки льда.

Возле полыньи чернела лыжа. На миг страх с новой силой охватил Андрея. Как наяву, увидел он красные пальцы Петровича, цепляющиеся за хрупкую ледяную кромку, которая крошилась, крошилась...

Он отвел взгляд от страшного места. Вокруг было темно, тихо и жутко. Впереди – там, где тянулась невидимая полоса берега, мутно мерцали огоньки деревушки, высвечивая в фиолетовом сумраке край неба.

И тут на глаза ему попался ледобур Петровича. Он лежал так, что его рукоятка едва возвышалась над ровной ледяной поверхностью. Позади темнела холодная, равнодушная вода.

«Если бы Петрович шел первым, ничего не случилось бы», – мелькнуло в сознании. «Не случилось бы с ним, – тут же возразил он сам себе, — а с тобой?». Не отдавая себе отчета, зачем он это делает, Андрей старался с помощью лыжи подтащить бур ближе, хотя можно было сделать несколько шагов и дотянуться до него. «И вообще, зачем он отошел в сторону? Знал же, знал, что лед на тропе всегда прочнее?» – Андрей представил себе, как идущий сзади Петрович бросает поклажу и хватает его, Андрея, за плечи, чтобы оттащить от полыньи.

Андрей передернул плечами, на мгновение почувствовал на них тяжелые руки Петровича. Этого толчка хватило, чтобы лыжа, зацепившая бур за шнековую часть, сорвалась, – бур без всплеска ушел в воду.

«Ты мог протянуть старику бур», — опять зашептал незнакомый ему до селе голос, тихий и вкрадчивый. «Нет, не мог! Не мог! – чуть не закричал Андрей. – Если бы я не поскользнулся...» – «Ты протянул бы Петровичу лыжу? – с сарказмом спросил голос и, как будто одержав победу, с торжеством добавил: – Ее же в руках не удержишь!»

Такое раздвоение в себе Андрей испытывал впервые. От страшного внутреннего напряжения у него голова пошла кругом. Хотелось опуститься на лед и больше уже не вставать. Унявшийся на недолгое время озноб снова со-

трясал его с головы до ног. Он собрал разбросанные по льду вещи и направился к берегу. Темнота становилась все плотнее.

Подморозило крепко. Тропа под ногами казалась совсем черной. Скрип снега эхом разносился в тишине и болезненно вонзался в сознание.

И вдруг тот же голос прошептал: «А ведь ты бур-то нарочно в полынью столкнул!». Шепот был таким отчетливым, что Андрей вздрогнул и оглянулся. На лбу выступила испарина. Он сдвинул на затылок шапку, перевел дыхание.

До берега оставалось около километра. Ноги неуверенно становились в старые, прихваченные морозом следы. Еще четверть часа он шел, как в бреду, разговаривая с невидимым собеседником, когда почувствовал, что правая нога теряет опору. Повторялось то же самое, что час назад — Андрей, не заметив промоины, провалился в нее ногой, но шедший тогда сзади Петрович успел повалить его на спину.

Теперь Андрей был один. Почуввав опасность, он по-заячьи метнулся в сторону, упал на бок. «Ничего... ничего... скоро берег...» — шептал он, успокаивая себя. Но подняться на ноги не смог — пополз по острому снегу туда, где спасительно светились огоньки деревни.

Каким маленьким и раздавленным чувствовал он себя под огромным звездным небом! Как было ему страшно, тоскливо и одиноко!

Вот и берег. Пошатываясь, Андрей встал. Над горой висел тонкий месяц. В его жидком свете матово блестела тропинка, узким пояском изогнувшаяся по склону горы. Постепенно мысли приходили в порядок, и он решил, что, как только вернется в город, сразу заявит о гибели Петровича. Но вот показались первые дома деревни и сомнения опять стали терзать его.

«Хорошо, — думал он, невольно ускоряя шаги, — хорошо... А на работе узнают? А жена?.. Нет, причем тут жена! И вообще, я же ни в чем не виноват!..».

«Ну да, разумеется. Разумеется, не виноват... — и тут новая мысль поразила его своей неожиданностью. — Можно вообще молчать! Кто видел? Кто докажет?..».

Ему вспомнился бур, без звука уходящий в черную воду. «Последняя улика уничтожена!» Он едва не закричал: «Почему уничтожена? Почему улика?.. Я не хочу. Не хочу!».

Возле дома, в котором они с Петровичем остановились, Андрей замедлил шаги, скинул с плеча тяжелый ящик. Свет, падающий из окон, освещал «Жигули», одиноко стоящие у ограды. Открыв дверцу, Андрей опустил на сидение. Страшно захотелось курить.

Негнушимися пальцами он вытянул из пачки сигарету. В это время на крыльце пронзительно скрипнула дверь.

— Ага, рыбачки мои вернулись? — раздался голос хозяйки. — Ну, и слава Богу. Гляжу — смеркается, а вас все нету. Не случилось бы чего, думаю. В этаку пору всяко бывает. Этта в Гарях трое утопли...

Андрей спиной чувствовал ее шаги и свистящее дыхание.

Стукнула крышка ящика.

— Ба-а! С уловом, значит. Ну, молодцы!..

Старуха замолчала. Андрей все сидел в машине полубоком к распахнутой дверце, курил. Ему не хотелось не только отвечать, но даже смотреть на старуху.

— А где Петрович? – спросила она, и Андрей вздрогнул.

Спокойный голос старухи показался ему зловещим, как будто она знала что-то такое, в чем он сам себе признаться не мог.

«Надо что-то ответить... ответить...» – подумал он и вдруг неожиданно для себя произнес:

— Как где? Дома, наверно, чай пьет!

— Дома? Нету его дома, – сказала старуха. – Вы ведь вместе по заре пошли.

Андрей проглотил тягучую слюну.

— Пошли-то мы пошли, да разошлись. – Он чувствовал фальшь в своем голосе, противился ей, но уже не мог остановиться.

— Я думал, Петрович вернулся давно.

— Нет, не вернулся, – растерянно сказала старуха и замолчала.

Андрей нагнулся, стал шарить внизу под сиденьем.

— Эй, парень, ты что? Ты вылезь из машины-то, – старуха дернула его за рукав плаща.

«Чего она пристала?» – с неприязнью подумал он, но повернулся и, грузно, путаясь в плаще, выбрался из «Жигулей».

Старуха шагнула ему навстречу. Ее лицо темнело совсем близко, и страх охватил Андрея.

— Э-э, парень... — прошептала она, заглядывая ему в глаза.

Андрей отшатнулся. Хотелось закричать, даже ударить старуху, но, как это бывает во сне, руки и ноги, да и все тело стали непослушными.

Лицо старухи поплыло куда-то в сторону. И тогда он упал на колени, закрыл лицо руками и беззвучно заплакал.

ПРО ДЯДЮ ВАНЮ

Дядя Ваня и «белая горячка»

Всем известно, что самый лучший способ излечиться от похмелья – тот, что называется «клин клином». Но непримиримый старик Журкин с этим не соглашался. Он пользовался другим, им самим для себя открытым. Способ был простой, но действенный – на весь день уйти на рыбалку.

Река была рядом. А дома рядом была жена. От неё, а не столько от головной боли, сбегал дядя Ваня на берег. Рыбалку он любил всю свою жизнь. Ну, лет шестьдесят из шестидесяти четырех, это уж точно. И даже не просто саму рыбалку непосредственно, а что с нею связано – подготовку снастей, варение прикормки, даже копание червей в компостной куче в за домом, не говоря уж о дороге к реке, по которой ноги сами бежали. А восход солнца за рекой? А закат с тихими бликами на водной глади?... К тому же, на старости лет, он еще и к зимней рыбалке пристрасти, она оказалась не менее увлекательной. А уж как февральский ветерок выдувал хворь из головы, так и сказать нельзя!

Вот и на этот раз – проснулся старик ни свет заря, а надо сказать, что зимой на рыбалке затемно делать нечего, не то, что летом. Постонал негромко раз-другой, прислушался – спит старуха. Спустил ноги кровати – тихо. Но только пошел крадучись к двери, как началось!

— Что, алкоголик, сбежать нацелился?! – голос Валентины Журкиной был не женский – густой громкий; для отягощенного похмельным синдромом он звучал, как обещанный Церковью архангелов глас.

— От чего это мне бежать-то? – перехваченным дядя Ваня.

— От суда! – пророчески провозгласила супруга.

Журкин хотел что-то сказать, но забыл что и промолчал. Он мельком взглянул на настенные часы, стрелки показывали шесть – значит, скоро светать будет, можно потихоньку на лед идти от греха подальше.

— Опять насосался, как пиявка! – летели вслед бедолаге гневные глаголы. – Ни стыда ни совести! Каждый божий день поперек глазу пальца не видит, всю душу из меня вымотал!

Обвинения были несправедливыми, старик выпивал нечасто, да и не много. Но Валентина с годами таким образом воспитывать мужа и совершенно искренне верила, что он и впрямь есть пьяница, каких свет не видывал.

Когда Журкин, напившись из ковши холодной воды, наскоро оделся и уже совсем был готов улизнуть из дому, на пороге возникла разгневанная супруга во всей красе – белой ночной рубашке, в валенках на босу ногу и в накинутом на плечи пуховом платке, подарке дочери.

— Похмеляться торопишься, алкаш? – гудел голос Валентины, прекрасно знавшей, что муж никогда не похмеляется, а выхаживается рыбалкой на свежем воздухе.

— На речку я, – только и сказал старик.

— На речку он! — передразнила жена. — Скоро до белой горячки допнешься!

— Сама ты белая горячка и есть! — отозвался из сеней осмелевший в предвкушении желанной свободы Журкин и выскочил на улицу.

А в это же самое время подобным же манером провожала на рыбалку жена соседа Журкина Степана, с которым они вчера с пенсии-то и осушили по маленькой. На прощанье она сунула в руки Степану сверток, чтобы он опустил содержимое его под лед. Торопясь скрыться от супруги, похмелившийся из заначки, спрятанной на дворе в поленнице, Степан, который придерживался в похмелье традиционного способа «клин клином», не отважился спросить, что находи в свертке, сунул его в рыбацкий ящик.

Приятеля отправились на реку. Рассвело. На льду то там, то тут чернели фигурки рыбаков, пришедших на лед еще, видимо, затемно. Степан пробурил лунку за спиной у Журкина выше по течению.

«Ведь что хорошо? — думал Журкин, вычищав лунки черпаком ледяное крошево. — А то, что, хоть весь день сиди, никто тебя пугать белой горячкой будет».

На душе у него стало хорошо.

Бывает, что и в глухозимье окунь на балансир ловится. Так успокаивал себя дядя Ваня, потому что с мормышкой его еще нетвердые с утра руки справиться пока не могли. Он опустил в лунку снасть, нашел дно и сделал первый рывок. И тут же почувствовал тяжесть. «Судак, наверно!» — с замиранием сердца думал старик, выбирая леску. Вот в лунке показалась голова... Журкин уронил удочку. «Не может быть», — вспышкой мелькнуло в больном мозгу. Он нашарил на льду леску и стал снова вытягивать ушедшую в воду добычу. Резким движением он выбросил её на лед и едва не упал с ящика: черное, бархатистое, похожее на крота ... котенок!

«Что за напасть?» — нерелигиозный Журкин осенил себя крестным знамением и боязливо оглянулся. Степан склонился над лункой и ничего не видел.

«Попей, попей — увидишь чертей!» — загремел ушах трубный голос супруги. «Неужто и, правда, белая горячка?» — испугался старик и осторожно ткнул трупик пальцем.

Нет, котенок был настоящий. Крошечный,дохлый, но настоящий. Дрожащие пальцы с трудом освободили крючок из кожи под мокрой, начинающей обледеневать шерсткой. Инстинктивно Журкин бросил балансир в лунку. Боковым зрением он видел скрюченное тельце котенка. Что-то было тут не так и потому хотелось зажмуриться, а потом открыть глаза и увидеть на льду обыкновенного окунишку или ерша. Старик так и сделал. Но видение не исчезло: возле лунки по-прежнему лежал чуть припорошенный снежком котенок.

И тут удочка в руках дернулась, Журкин подсек. Три метра лески казались бесконечными. Задохнувшись, он приподнял улов над лункой: это снова был котенок.

— Мама! — не своим голосом крикнул старик и с удочкой в руках бросился к Степану. — Мама родная!

— Ты что, Иван, — шарахнулся тот. — Ты что, рехнулся?

— Степа, – шепотом произнес Журкин и протянул руку с балансиром – на якорьке покачивался рыбацкий трофей. – Степа, что ты видишь?

Степан некоторое время недоуменно разглядывалдохлого котенка, а потом громко захохотал.

Он хохотал и хохотал, а Журкин стоял перед ним и думал, что и у соседа, пожалуй, белая горячка.

Наконец, тот замолчал, и тогда старик с обидой в спросил:

— Чего ржешь?

Степан показал на котенка и хмыкнул.

— Ну?

— Мой котейка!

— Не понял, – сказал Журкин.

Похохатывая, Степан пихнул ногой лежащий возле рыбацкого ящика сверток. Газета развернулась, и Журкин увидел там еще двух мертвых котят.

— Чего это такое?

— Да вот, – ответил Степан, вытирая слезы рукавом. – Жена вчера котят в ведре топила, пять штук, а мне дала их под лед спустить. Я и опускаю, значит, по течению, а ты... ловишь! – И он снова захохотал.

Журкин хохотнул как-то неуверенно и поплелся к своей лунке, утешаясь тем, что белая горячка, во предсказаниям супруги, пока что его не настигла. И еще он решил, хотя и без каких-либо на то оснований, что пить завязывает совсем.

— Ну его к лешему, – ворчал старик, бросая балансир в черную воду, – а то, пожалуй, в другой раз живых котят из подо льда начну доставать!

А ведь оно почти так и вышло. Но это уже другая история.

Дядя Ваня и водяной

Иван Журкин глядел, щурясь, на огонь. Пламя прижималось к земле, то снова устремлялось вверх. Время от времени костер выстреливал, и тогда искры вздымались столбом к черному небу, усеянному звездами. Лицо старика в отблесках костра казалось в вырезанной из красного дерева маской древнего истукана.

Рядом, за кустами, раздался неожиданно гром всплеск.

— Вот это да! – восхищенно воскликнул лежащий у костра напротив Журкина молодой рыбак Юрик. – Сом, наверно!

— Сам ты сом! – невозмутимо определил Журкин и замолчал.

— А кто же?

— Крокодил, – хмыкнул кто-то из рыбаков.

— Русалка, – поддержал другой голос в темноте.

— Нет, мужики, это водяной! – произнес уверенно Журкин. – Он тут, в этом омуте живет.

Сказано было так, как будто речь шла о щуке или, по крайней мере, ондатре, квартирующей под соседней корягой.

— Ты с ним знаком, видать, с водяным-то? – усмехнулся Юрик.

— А как же, — все тем же обыденным тоном ответил Журкин и демонстративно плюнул в костер, показывая тем самым, что знакомство с водяным для него — плевое дело. — Знаком. Я его здесь прошлым летом на закидную поймал.

— Кого?

— Водяного.

— Водяного?

— Угу.

— Это как же?

— Да так же — на жмых.

— Ну, расскажи, что ли, кого ты поймал, — недоверчиво спросил Юрик.

— А что тут рассказывать — поймал, да и все тут!

— Ладно, дядь Вань, расскажи!

Юрика поддержали и другие рыбаки, и даже дружок Журкина Степан, знавший наизусть историю с водяным, и тот сказал:

— Расскажи, Иван, все веселее будет ночь коротать!

Журкин долго раскуривал сигарету от уголька.

— Короче говоря, — медленно начал он, — собрался я на рыбалку...

— Выхаживаться, — вставил голос из темноты.

— А хотя бы и так, — ответил дядя Ваня, устремляя взгляд в темноту, но там ничего видно не было. — Дело к вечеру. Думаю, застану и вечерний клев, ночь у костерка посижу, вот как мы сейчас сидим, а там и утренняя зорька, да... Расположился у омута, чтобы по кромке-то, значит, перед свалом удочки поставить, сами знаете. Закинул. Сажу. А клева нет.

— Как сегодня, — перебил рассказчика все тот же голос.

— Ну, видишь ли, — философски заметил и даже, как истинный оратор, приподнял вверх указательный палец, — слышал, поди, по радио про импотенцию?

— Про что?

— Про импотенцию.

— Ну, слышал. А при чем тут клёв?

— А при том, — по-прежнему невозмутимо говорил Журкин. — И там и тут — уж если нет, так нет, и ничего не поделаешь, хоть тресни!

Над сонной рекой прокатился оглушительный хохот. На другом берегу ухнул филин — от испуга, наверно. Старик выждал паузу и продолжал.

— Темнеть стало. Дай, думаю, насажу жмых. Я еще дома приготовил кусок — запилы сделал, ну, как полагается. Чем черт не шутит, а вдруг белорыбица подойдет? Да и сазан от жмыха рыло не воротит, сами знаете...

— А то, — не удержался Юрик, — я помню осенью...

— погоди ты! — оборвал его Степан. — Пускай водяного расскажет.

— Пускай, я чего, я так только вспомнил...

Журкин продолжил рассказ.

— Так вот, стояло у меня две закидные — одна червя, другая на перловицу. Третью размотал, приладил кусок макухи, забросил. А уж темно, хоть глаз коли. Я на ощупь подтянул жилку, на пруту закрепил колокольчик, как полагается, повесил, самый звучный, угодил, валдайский, мне дочь привезла... И что ты

думаешь? – старик поглядел на Юрика. – Этот самый валдайский чуть не сразу ка-а-к задребезжит – на в округу!

Старика больше никто не перебивал. Всем у костра стало интересно, что за рыба клюнула на макуху. Даже скептик в темноте, и тот молчал. А Журкин потянулся, достал сухую березовую ветку, переломил её о колено и бросил в огонь.

— Ну чего? – первым не выдержал Юрик.

— Тут-то все и началось, – ответил со вздохом Журкин. – Я к удочке. Ладно, что жилку крепко замотал, а то бы давно уволок водяной мою снасть. Гляжу – дергается закидная во все стороны, ну, думаю, вот это поклевка! Хватаю. Подсечка. Чувствую – крупняк, еле-еле справляюсь, что есть сил тяну. Костерок у меня невеликий горел, так только, для свету. Он освещает мне сам плес да немного воды, а дальше ничего не видать. Основная жилка у меня на закидных – 04, клинская, черта выдержит. Ладони в кровь порезал, но не бросаю, волоку добычу. Ближе, ближе... Вот в свете костра что-то черное показалось. Сомяра, что ли, думаю, а сам тяну. И когда до берега уж метра два-три осталось, стал я перехватываться, ну и малость ослабил натяг. Тут из воды как завоет диким голосом, да как на меня бросится!..

— Кто?

— Водяной, кто ж еще-то?! Я и попятиться не успел, упал на отмели в воду, а это чудо прямо через меня летит, грудь мне четырьмя лапами мнет... А лапы, я доложу, все с когтями... Вот так, думаю, хозяина реки зацепил! А он, зараза, по костру – искры до неба! – да в лес вместе с удочкой! А сам воет дико, аж кровь стынет в артериях. Я и удочки собирать не стал, таким манером – ноги в руки и домой! Вот так я водяного на закидную и поймал. Да.

Замолчал Журкин, и на какое-то мгновение у костра наступила тишина. Потом голос из темноты спросил:

— Ну и кто это был?

— Где? – как ни в чем не бывало отозвался старик.

— На удочке твоей.

— Водяной и был.

— Да ладно, выдумал, поди, все. Знаю я тебя, балабол старый! – подал голос Юрик.

— Не веришь – не надо. Вон Степан не даст соврать, – Журкин кивнул на своего приятеля.

Степан, мужик небольшого роста, большеголовый, про каких говорят «сам худ, а голова с пуд», придвинулся к огню.

— Так все оно и было, – подтвердил он с серьезным и даже каким-то обиженным видом. – Так и было. Сажу я на крыльце, курю. Отдыхаю, значит, после трудового дня. Вдруг влетает в палисадник мой пёс Тарзан с диким воем. Ухватил я его за ошейник, гляжу из пасти у него леска волочится. Пытаюсь пасть-то приоткрыть, не дается. Ну, кое-как сумел. Мама родная! Там у бедняги кусок макухи, из него крючки торчат, в мякоть вонзились – кровища! «Ты что же, говорю, дурачина, снасть чью-то сожрать хотел?» Он, знай, воет. Пришлось к ветеринару вести, к Олимпию. Кое-как на пару спасли животную. Олимпий Тарзанке еще и укол до кучи вкатил – от столбняка, наверно. А, может, от

нервного расстройства. И то – жива душа... Ну, крючки, я вам скажу, острейшие оказались!

Тут снова над рекой грянул взрыв смеха. На раз вместе со всеми хохотал и Журкин.

— Что получилось-то, – заговорил он, когда поутих. – В темноте я не рассчитал малость, снасть рез речку перекинул, ну, а Тарзанка тоже, видно, охоту вышел, макуху и заглотил, сердяга!

— Ну да, – кивнул головой Степан. – Я его с цепи вечером спускаю, он и кормится, что на берегу найдет.

— Вот и нашел!

— А ты его, живодер, через всю реку протацил!

— Собака должна дом охранять, а не по берегу в темноте шастать, – сказал Журкин назидательно.

— Она же не знает, что есть такие рыбаки, – голос приобрел язвительный оттенок, – которые не рыбу, а собак ловят. Да котят!

— Каких еще котят? – спросил невидимый из темноты.

— Зимой дело было... – начал Степан.

— Ладно тебе! – перебил приятеля Журкин.

Но все оживились.

— Нет уж, рассказывай, что там наш дядя Ваня реки выловил! – не унимался Юрик, и его поддержали другие.

Журкин плюнул в сторону.

— Ладно, сам расскажу, этот голован переверёт!..

Как дядя Ваня с друзьями на льдине дрейфовал

Весна нынче выдалась ранняя и на редкость дружная. А это при морозной зиме ничего хорошего, сказать, не обещает. Ну и пожалуйста – как пошли снега таять, как полились с гор потоки, мерзлая земля воду не впитывает, поверху плывет и всё в реку! Село Микиткино в Венецию превратилось. Паводок! А на веселый праздник «Марья-зажги снега» и ледакол прошел по водохранилищу. Всё, считай, зимняя рыбалка закончилась. Но так может думать кто угодно, не сами рыбаки. Отчаянные головы, сызмальства на воде, их испугать не так-то просто!

Старик Журкин с дружкой своим Степаном чуть свет на лёд спустились. У берега он пока что держится, а с утра по морозцу по такому льду ходить – одно удовольствие.

— Часов до одиннадцати порыбачим, а солнце припечёт, ноги в руки и домой! – говорил Степан, едва поспевая за Журкиным.

— Ясно! – отозвался дядя Ваня. – Не впервой.

Как оказалось, не одни они такие умники выискались – вдоль обрыва по кромке уже сидели рыбаки. Открытая вода была совсем близко, и над ней летали редкие пока чайки.

— Во сколь ни приди, уже сидят! – ворчал Журкин, ступая на закаменевшую за ночь наслуду.

— Нашу рыбу не поймают!

— Это точно.

В апреле рыбакам облегчение – новые лунки бурить не обязательно: ударил сапогом в старую, и во, запускай удочку! Поэтому мало кто таскал с собой бур – набуренных лунок хватало. Но основательный Степан брал с собой легкую пешенку, чтобы простукивать ей ненадежные места на льду.

Уселись, стали ловить. Клёв получался вялый. Рыбаки бродили с места на место, искали рыбу – то из одной лунки окунишку выдернут, то из другой со-ро-жонку. А время идет, солнце уже спины пригревает, скоро конец рыбалке.

— И это последний лёд! – плевался дядя Ваня, отчаянно вытрясая мор-мышку. – Совсем в реке рыбы стало.

И все с ним соглашались. Истинная правда! Степан еще и уточнял:

— Что ты! Раньше, помню, у нас рыбы-то было, без трусов в воду не зай-дешь!

— Ты, видать, заходил! – кричал с дальней лунки Юрик.

Весело весной на льду, хорошо! Жить охота.

Ну и дорыбачились. Первым неладное заметил дядя Ваня.

— Что за хрень! – ругнулся он, заметив, что удочка не достает до дна. – Течение, что ли пошло?

Степан тоже отпустил в воду чуть не метр лески.

— Наверно. Шлюзы включили.

— Ты гляди, как тащит! – не унимался Журкин.

— Мать твою так! – раздался издалека голос Юрика. – Мужики, так нас же понесло!

И тут увидели, что между берегом и льдом, на котором они размещались, появилась полоска воды, которая постепенно увеличивалась. Льдину оторвало. Дядя Ваня спешно сматывал удочку. Кто-то, бросив снасти, бежал к полынье и с разбегу перемахивал на спасительную кромку берегового льда. Один грузный в зеленом плаще, недопрыгнув, ухнулся в воду. Его тут же вытащили на лёд. Он сбросил плащ, уселся чтобы удобнее было снять сапоги и вылить из них воду, но сапоги не стаскивались с ног, и мужик громко матерился.

— Брось! – крикнул Степан дяде Ване. – Брось на хрен свою удочку! Останемся на льдине, как папанинцы!

Он схватил пешенку и, оставив на льду ящик, ринулся к разлому. Дядя Ваня сунул удочку в карман поспешил за ним.

Когда они подбежали к краю льдины, прыгать было уже опасно.

— Ну и что будем делать? – растерянно спросил Степан и посмотрел на дядю Ваню. Тот молчал, будто не слыша, глядел совсем в другую сторону.

— Иван, ты чего? Не видишь, что ли – мы на льдине остались? Тут без лодки не выберешься, ёлки-моталки!

Журкин не отвечал.

— Оглох от страха, да? – не унимался Степан. – Прыгать надо. Чай, до-плывем, Бог даст. Мужики верёвку кинут... Или ты, как Шмидт на льдине бу-дешь сидеть?

— Какай еще Шмидт? – отозвался, наконец, дядя Ваня.

Степан пританцовывал на месте.

— А хрен его знает, какой! Ты как хочешь, а я буду прыгать.

— С камнем на шее было бы верней! – только что подбежавший Славка, которого все звали «Движок». – Чтоб не мучиться.

— Иди ты! – махнул рукой Степан, уже и сам понявший, что прыгать в воду поздно – слишком далеко отнесло льдину от берега.

Тут заговорил дядя Ваня:

— Глядите-ка, куда Лёня Модный намылился.

Мужики посмотрели туда, куда показывал Журкин. Несколько рыбаков во главе с Лёней, по прозвищу «Модный», бежали к дальнему краю льдины.

— Ну?

— Вот те и ну! Давай туда!

— Зачем?

— Затем, что льдина там еще не отошла, как я понимаю.

Поспешили к Лёне. Оказалось и тут поздно. Между береговой кромкой и льдиной чернела широкая полоса воды.

— Ну вот, – сказал, закуривая, дядя Ваня Степану. – Теперь точно будем, как твой Шмидт на льдине куковать!

— Долго не накукуешь, – заметил Движок.

— Это почему? – настороженно спросил Степан.

— Так разломит льдину на куски, и пойдем мы корм рыбам, – равнодушно ответил Славка.

Степан раз-другой ударил пешенкой, которую не выпускал из рук, по льду, будто проверял его на прочность.

— Не стучи! – строго сказал ему дядя Ваня.

Со стороны берега раздался голос Юрика:

— За лодкой побежали! Скинут лодку и – за вами!

Дядя Ваня только рукой махнул, мол, пустая затея. Потом он вдруг завертел головой, выхватил из рук приятеля пешню и ринулся к краю льдины.

— Ты чего, рехнулся? – крикнул ему вслед Степан.

Пыхтя, как паровоз, Журкин дотянулся концом пешни до небольшой льдины, что плавала в полынье, усилием притянул её к себе.

— Понял? – обернулся он к мужикам.

— Не понял! – ответил Степан, но Движок уже подскочил к дяде Ване.

— Понял! – сказал он и попробовал встать одной ногой на край льдины, которую придерживал Журкин. Льдина качнулась, но устояла, казалась надежной.

— Вот те и лодка! Давай, мужики! – скомандовал дядя Ваня.

Взгромозились на льдину трое – Славка Движок, Степан, да еще один мужик по имени Толик. Степан стоял на четвереньках, ухватившись за ящик, как за спасательный круг. Из всех сил Журкин оттолкнул от себя льдину. Медленно, но уверенно она преодолела расстояние до береговой кромки.

— Ура! – крикнул подбежавший Юрик, помогая перебраться на твердую поверхность Степану. Тот, как встал на ноги и почувствовал под собой твердую поверхность, закричал:

— Журкин! Ты мою пешню, гляди, не утопи!

— Я тебя утоплю, как переправлюсь! — отозвался Ваня.

Тем же макаротом льдину отправили назад. На нее забрались оставшиеся, среди них и Журкин. На раз не удалось перетолкнуть ледяной плот через полынью. Льдина остановилась посередине.

— Вот теперь ты точно — Шмидт! — крикнул Степан и захохотал, а Журкин погрозил ему кулаком.

Чего-чего, а смекалки рыбакам не занимать. Через пару минут Юрик добыл где-то веревку, за которую и перетянули дрейфующих на «большую землю».

Мужики еще постояли на берегу, поговорили том, что зимняя рыбалка кончилась. Вдалеке из-за мыса появилась самоходка, она медленно шла вверх по течению, и само появление судна среди льдин уже говорило о близкой весне, половодье, о скором нересте сорожки, когда её можно будет ловить с берега на муравья... А там и лето!

Журкин со Степаном зашли по пути в магазин, взяли уважаемый обоими «Русский стандарт», чтобы, как положено, отметить спасение.

— А все моя пшенка, — сказал Степан, аккуратно наливая водку в крышку от термоса. — Без неё мы сейчас...

— Это точно, — согласился дядя Ваня.

О чем дядя Ваня не любил рассказывать

Возможно, кто-то и считает дельфинов самыми умными существами — после человека, конечно, только не дядя Ваня. Дядя Ваня раньше тоже так думал, но с некоторых пор стал придерживаться иного мнения. И, между прочим, приводил весьма убедительные аргументы. Он, как человек, умудренный житейским опытом и российским телевидением, не отрицал у дельфинов интеллекта, но и не преувеличивал его значение.

Ихтиологам известно примерно тринадцать тысяч видов рыб, но из всех жителей водной стихии дядя Ваня превозносил карпа.

— Умнее рыбы нет, — заявлял он и поджимал губу, что означало, что спорить с ним бесполезно. При этом старик абсолютно игнорировал утверждение, что дельфин и не рыба вовсе, а животное, обитающее в воде. Карп затмил для него все остальные достойные творения пятого библейского дня — птиц, рыб и различных пресмыкающихся. — Осторожен, хитер и силен — вот, как я вам доложу, — дядя Ваня поднимал кривой указательный палец и многозначительно замолкал, а потом для полной убедительности ссылался на классика. — Об этом еще Сабанев³ писал!. Что такое дельфин? Доподлинно наука его еще не изучила. Да мало ли в море всякой твари обитает?! Только мне, потомственному волгарю, на это, извините за выражение, наплевать. Совсем другое дело карп — рыба наших широт. И какая!..

³ Л.П. Сабанев (1844-1898) — автор знаменитого труда «Жизнь и ловля пресноводных рыб».

Тут в глазах старого рыбака зажигались костерки гордости за свое Отечество, в прудах и реках которого пор водится такая удивительная рыба. Ну, а то, что *Carpinus carpio* L. распространен в водоемах многих стран, его ничуть не интересовало. Пусть там хоть черти водятся, нам-то что за печаль!

Вот эдаким твердо уверенным дядя Ваня стал после одного инцидента, случившегося с ним и его соседом Степаном несколько лет тому назад на рыбалке.

Дело было так.

В то лето карп клевал повсеместно и очень активно. Даже и слово-то «клевал» неподходящее, чтобы сказать о тех достославных событиях. У него, у карпа, то есть, прямо-таки жор какой-то в то лето случился. Так что потом местные рыболовы называли сей период – с июля по сентябрь включительно – карпов сезоном. Да. И следует отметить, с тех пор такого не повторялось. По неизвестной причине. И никто не знает, повторится ли еще.

Ну, надо сказать справедливости ради, что клевал тот карп не глупо как-нибудь, не на все подряд, и не на любую, опять-таки, снасть. А то кто-то подумает, может быть, по простоте душевной, что, дескать, во сколько ни приди на озеро, куда ни закинь удочку и что ни повесь на крючок, все равно карпа поймашь. Не-ет. Не тут-то было. Это вам, извиняюсь, не ротан какой-нибудь. Хорошо карп клевал у тех только, умел его ловить. А дядя Ваня был из таких.

Снастей для ловли карпа на свете существует великое множество. Дядя Ваня предпочитал самую ни на есть простую – донную со скользящим грузом. Выглядела его снасть таким образом: четырехметровое с кольцами удилище из бамбука с безынерционной тушкой, на шпулю которой была намотана леска сечением 0,32 мм, поплавков из крупного гусиного пера, скользящее грузило «оливка» и поводок чуть тоньше основной лески сантиметров 30 длиной. Само собой – крючок с коротким цевьем и отогнутым в сторону жалом. Снасть работала безотказно. Если знать, что насадить и куда и когда забросить.

Дядя Ваня со Степаном облюбовали еще с мая один дальний пруд с затопленными оврагами, который называют здесь «урывами». Вот в этих-то урывах, а глубина там достигала четырех метров, закоряженных до невозможности и проживал карп. Проживал он давно, и ловили его ежегодно, но не в таком количестве и не таких размеров. А тут, как с цепи сорвался. Редко кто из рыбаков без улова возвращался домой, даже приезжающие на крутых автомобилях из города, и те одного-двух вываживали.

Ловили на червя, на перловку, на вареный картофель и на пареный горох, но большей частью на сладкую кукурузу, отдавая предпочтение «бондюэли». Но дядя Ваня общей моде не поддавался, имел свою тенденцию и приспособился рыбачить на краснодарскую. Эта кукуруза, говорил он, лучше на крючке держится, потому как кожа у нее толще. Правда, перед забросом он слегка разминал кукурузину, разлохмачивал ей рыльце, и даже маникюрными ножницами чего-то там расстригал, чтобы карпа таким образом соблазнить. Но делал он это украдкой, чтобы другие его секрет не подсмотрели и тоже не начали соблазнять. Пускай свои приемы выдумывают, халявщики! Так совершенно справедливо считал опытный и к дядя Ваня.

И вот однажды после обеда приятели собрались на карпа с ночевой. Вечерний клев начинается обычно часов с пяти. Но на водоем прибыть надо, конечно, пораньше. Это всякий сопливый пацан знает. В начале четвертого, когда утомленное солнце начало скатываться неохотно к дальней кромке леса, где в августе совершался закат, дядя Ваня и друг его Степан, уложив снасти, оседлали велосипеды и покатали, не торопясь, по пыльной дороге на пруд.

На пруду у каждого из них было излюбленное место – Степан устраивался на мысу, разделявшем урыв на два рукава, а дядя Ваня – в одном из этих рукавов под обрывчиком. Друг от друга приятели находились недалеко, так что по надобности перекрикивались, не напрягая сильно голосовых связок.

— Эй, Степан! – приглашал, к примеру, дядя Ваня. – Иди ко мне, перекурим.

— Уж лучше ты ко мне! – отзывался гостеприимно Степан.

И не шел, конечно, ни тот ни другой, потому что на карповой рыбалке только отойди – да что только, отвернись на минутку, как тут же без удочки останешься – утащит разбойник в момент вместе дорогой катушкой, как пушинку сорвет с тычки, уволочет в коряги, и опомниться не успеешь! Так и курили друзья – каждый возле своих снастей, притаившись за кустами краснотала, чтобы и тень на воду не ложилась – карп – рыба и впрямь весьма осторожная, особенно крупный.

У дяди Вани имелось в наличие четыре удочки: три на карпа и одна, легонькая, на карася, который водился тут же, только ближе к берегу, возле осоки и порой весьма успешно ловился исключительно почему-то на перловку, игнорируя даже «полосатика», самого вертлявого из навозных червей. Имелся, конечно, маленький секрет – в перловку требовалось капнуть ночной настойки, но не магазинной, а непременно самодельной, из свежего чеснока на подсолнечном обязательно нерафинированном масле. Эту настойку мастерски делал Степан, утащив в интересах производства из кухонного арсенала жены совсем новую чеснокодавилку. Приятели, бывало, выпьют на рыбалке по соточке и занюхивают степановой настойкой.

— Хороша! – скажет дядя Ваня.

— И то! – ответит, утирая губы, Степан.

И непонятно – про водку это они или про чесночную настойку.

Наверно, и про ту, и про другую. Карась же любил, без сомнения, последнюю.

Обычно дядя Ваня ставил на карпа две удочки, а одну держал в запасе, на случай, если рыба оборвет леску или случится еще какая-нибудь неожиданная неприятность. Если карп долго не клевал, дядя Ваня переключался на его мелкого собрата и таскал серебряного карася из-под осоки за милую душу.

В тот вечер клева не было. Дядя Ваня негромко ругался, с подозрением глядел на небо, не собирается ли дождь, но дождь не собирался, а небо от края и до края окрасилось в золотистые тона. Тихая вода казалась стеклянной. На ней недвижно лежали поплавки дяди Ваниных удочек. На крючке одной было насажено две кукурузины, на другой – три. Но никакая лохматость проверенной краснодарской сегодня не соблазняла рыбу.

— Степан! – крикнул дядя Ваня. – Ты как?

— Никак! – отозвался с мыса Степан.

— И я – никак.

Степан не ответил.

Время шло. Солнце плавилось уже над самым лесом, и это не предвещало ничего хорошего, потому что клев обычно в сумерках заканчивался. Дядя Ваня заволновался. Подбросил прикормки, поменял насадку – никакого толку. Поплавки мертво лежали на воде, будто их приклеили.

— Ладно! – вслух сказал дядя Ваня и поджал губу. – Ладно. Не хочешь – не надо. Мы люди не гордые, будем ловить карася!

Он уже взялся за свою легонькую удочку, как вдруг заметил притулившегося возле банки с кукурузой слизня.

— А вот такое блюдо не желаете? – с издевкой обратился дядя Ваня в окружающее пространство и потрогал слизня кривым указательным пальцем. Слизень шевельнулся и замер.

Дядя Ваня, мстительно ухмыляясь, поднял одну из карповых удочек. Кукуруза на крючке выглядела свежей и аппетитной.

— Ага! – воскликнул дядя Ваня и как будто бы даже обрадовался. – Ага! Вот так ты, значитца? Ну-ну!

Так он разговаривал с невидимым противником, что скрывался под толщей воды в корягах. Они еще не видели друг друга, но через несколько минут им предстояла нешуточная борьба. Ни тот, ни другой не знали об этом.

Насадив слизня на крючок, дядя Ваня по рыбацкой привычке плюнул на него и, тихонько матерясь, забросил удочку подальше от берега. И случилось неожиданное: вместо того, чтобы лечь, как положено донной снасти, на воду, поплавок утонул, словно его и не было. Дядя Ваня не понял, что произошло. Он так и сказал вслух:

— Не понял, твою мать!

Между тем, не думая, а как бы автоматически, он защелкнул кольцо лескоукладывателя на катушке и до упора повернул головку фрикциона. Удилище рвалось из его рук.

— Ах ты...! – дядя Ваня обозвал карпа нехорошим словом. Стесняться в выражениях на пустынном берегу было некого.

Крупную рыбу вываживать надо уметь. Новичок, понятное дело, забыв про все на свете, тянет её быстрее на берег, ну и, разумеется, теряет и рыбу, и снасть. Дядя Ваня, как опытный рыбак, прекрасно знал, этих случаях делать – надо отпустить фрикцион, дать рыбе погулять, а когда она утомится, выводить на кругах к берегу. Знать-то он знал, но не все так просто практике. Попробуй, дай-ка рыбе свободу, когда кругом коряжник! Самый захудалый карасишка и тот утянет снасть в крепкое место, замотает там леску за пенек и – поминай его как звали! А тут, по всему видно было, попался монстр, обладавший такой силой, что впору бы и рыбака в воду утащить. Дядя Ваня едва удерживал удилище в руках, оно выгнулось кольцом, пружинисто, со свистом рассекало воздух и, казалось, вот-вот сломается.

— Степан! — хриплым голосом воззвал дядя Ваня, а сам все пытался дотянуться ногой и подвинуть к себе ближе рукоятку опущенного в воду подсака. — Степан!

— Ну! — нехотя отозвался приятель.

— Иди сюда, так твою перетак!

— Чего тебе?

Дядя Ваня, сражаясь с карпом, топтался на берегу и издавал горлом такие удивительные нечленораздельные звуки, что Степан, услышав их, наконец, понял: что-то неладно. Через минуту он стоял за спиной дяди Вани.

— Тихонько, тихонько! — хрипел он. — Не давай залезть!

— Сам знаю! — рявкнул дядя Ваня. — Подсак бери.

В это время карп поднялся ближе к поверхности, тяжело перевернулся, показав желтый бок, и снова ушел на глубину. По урыву пошли волны.

— Ни хрена себе, особь! — задохнулся Степан, а дядя Ваня аж присел, стараясь вертикально удержать в руках удилище, потому что, если не удержишь его в положении и позволишь рыбе вытянуть леску в одну линию с удилищем, она оборвет и самую прочную снасть, будь то даже плетёнка.

Карп некоторое время постоял неподвижно, потом развернулся и двинулся к корягам.

— Все! — обреченно сказал Степан.

— А ху-ху не хо-хо?! — не сдавался дядя Ваня, и глаза его горели огнем охотничьего азарта. Если бы в этот момент дать ему рычаг, он мог бы запросто перевернуть землю. Уперев в живот конец удилища, широко расставив ноги, он застыл наподобие каменного истукана и сумел-таки остановить движение рыбы, а потом развернул её на обратный ход.

— Так! Так! Не пускай его! — Степан от волнения припрыгивал на месте.

Поджав нижнюю губу, дядя Ваня сопел, как паровоз времен гражданской войны, и быстро подматывал свободную леску. Карп медленно шел к берегу. Оборот, еще оборот! Видавшая виды катушка «Black Hole» скрипела, но держала нагрузку.

— Не дергай подсак, держи на месте, я сам его заведу! — почему-то шепотом заговорил дядя Ваня.

И завел. В лучах закатного солнца чешуя отливала темным золотом. В подсаке он замер и его можно было разглядеть. Прогонистый, не меньше полуметра в длину, карп двигал тяжелыми жаберными крышками, хватая воздух. В вытянутых трубкой губах крючка видно не было, значит, заглотил наживку глубоко. Какое-то мгновенье приятели любовались красавцем, и тут Степан допустил серьезную, неподобающую карпятнику оплошность. Он приподнял подсак вверх. Китайское изделие не выдержало русской рукоятки подсака согнулась пополам, а сам он погрузился в воду — рыба запросто могла воспользоваться моментом, чтобы вырваться на свободу.

Степан оступился и упал на спину в траву.

— Держи! Держи! — только и успел крикнуть он.

Дядя Ваня бросил удилище, ухватился за сломанную рукоятку подсака. Волоком, он подтащил к берегу, и тут они уже вместе со Степаном, ухватив

подсак с двух сторон, вытащили карпа на землю, но тот не собирался сдаваться. Ударив оземь хвостом, он выскочил из подсака. Еще усилие и он окажется в воде! Степан крикнул и самоотверженно упал на рыбу животом.

Он лежал ничком, и его пятипудовое тело дергалось как в судорогах, так карп рвался из-под него свободу.

— Выползает, гад скользкий! – прохрипел в траву Степан, и дядя Ваня изготовился схватить непокорного бойца, для чего упал возле распростертого Степана на колени.

Они одержали победу.

Степанов безмен показывал 6 кг 300 г, дяди Вани – 6 кг 700 г.

— Твой врет! – сказал дядя Ваня.

— Почему это мой, а может, твой? – обиделся Степан.

— Нет. Мой точнее точного.

Дядя Ваня уложил карпа на траву и гладил его черную спину, словно это был кот Мурзик. Карп лежал смирно, издавал время от времени утробные звуки.

— Вишь ты, жалуется! – с умилением проговорил Степан и, присев на колени, тоже погладил рыбу. На пальцах у него осталась чешуя величиной с пятирублевую монету, не меньше.

— Осторожней, обдерешь ему защитный слой! – ревностно сказал дядя Ваня и заслонил карпа плечом.

Степан убрал руку, а чешую спрятал в карман, не ведая, что именно это впоследствии спасет их от насмешек рыбаков.

— Умная рыба, – уважительно проговорил дядя Ваня.

— А силы-то! – поддержал друга Степан.

— Да. И сильная. Но не сильнее человека. Человека никто победить не может! – сам того не зная, поддержал дядя Ваня старика Хэма⁴.

На это гордое заявление чемпиона возразить Степану было нечего. Раз по телевизору он смотрел кино, как старик поймал рыбу-меч, так и она поддалась человеку. Карп, конечно, не рыба-меч, но тоже – не пескарь какой-нибудь! У нас в озерах рыба-меч не водится, а если бы водилась, мы бы и её наладились ловить. А чего? «Меч», эка невидаль!

Так поймал дядя Ваня великого карпа. Но история тем не кончилась, она только началась.

Приятелям бы домой вернуться, так ведь они с ночевой настроились. Да и кровь после такой добычи заиграла – а вдруг еще подобный гигант попадется? Дядя Ваня, может, и согласился бы закончить рыбалку, он даже в глубине души и хотел бы её закончить, чтобы вернуться в село да и показать всем свой улов. И это было бы правильное решение. Но Степан! Ему-то ведь тоже хотелось поймать карпа. Пускай не громадного, хотя... чем водяной не шутит?! И они остались.

Сначала надо было определиться с карпом – где его разместить, чтобы живым остался? В садок не стоит пускать – порвет сетку этакий боец. У него вон

⁴ Эрнест Хэмингуэй, американский писатель

первое перо на спинном плавнике, что твой напильник! На земле оставлять тоже нельзя – в такую жару запросто испортится. Дядя Ваня в раздумье ходил вдоль берега, прижав рыбу к груди, точно кормящая мать младенца.

— Его бы на кукан посадить, – нерешительно предложил Степан.

Дядя Ваня предложение не принял.

— Порвет, – только и сказал.

Еще некоторое время он нянькался с карпом, потом уложил его на траву подальше от воды, порылся в карманах и, наконец, извлек из одного моток электропровода синего цвета.

— Вот это, пожалуй, выдержит.

Степан посмотрел сечение – из оплётки торчали стальные нити. Он намотал провод на руки и попытался разорвать.

— Железно! – обнадежил он дядю Ваню.

Тот быстро смастерил кукан и посадил на него карпа. Вместе со Степаном они осторожно, как ребенка, с ладоней опустили его в воду, предусмотрительно привязав кукан к дереву. Карпище некоторое время постоял без движения, потом нехотя двинул хвостом и, словно победитель, отплыл от берега. Он не рвался на свободу, смирившись, по всей видимости, со своей судьбой.

— Утомился, сердяга, – с нежностью в голосе сказал дядя Ваня, глядя, как рыба шевелит плавниками. – И то сказать – чуть двоих мужиков не одолел!

— Да уж! – вздохнул Степан. – Было дело... Ты это, – он ткнул пальцем в плечо приятелю. – Куртофан-то замыть бы надо.

Пока дядя Ваня смывал карпиную слизь с куртки, Степан натаскал дров и затеплил костерок. Друзья устроились у огня, выпили по маленькой и закусили. Впереди была нехолодная еще августовская ночь. Степан дремал, положив под голову резиновую подушку от надувной лодки, которую всегда брал с собой на рыбалку и сквозь дрему видел, как дядя Ваня раз за разом бегал к воде поглядеть, как там пленник себя ведет. Пленник, видимо, вел себя смирно, потому что дядя Ваня возвращался к костру довольный. Он ломал о колено сухую еловую ветку, шевелил обломком красные угли, бормотал что-то, укладывался на расстеленной на земле куртке, но через пять-семь минут опять спешил к озеру, откуда изредка доносились глухие всплески. На рассвете Степан крепко заснул.

Ему приснилась гигантская рыба-меч, которая его в правый бок своим жутким носом-кинком и дяди Ваниным голосом выкрикивала:

— Где? Где? Где?

Степан испугался и открыл глаза. Рассвело. На деревьях клочьями висел туман. В догоревшем костре дымились две головни. Рядом на коленях стоял дядя Ваня и монотонно ударял приятеля под печень, повторяя одно слово:

— Где? Где? Где?

— Что – где? – хлопал спросонья глазами Степан.

— Карп где? – простонал дядя Ваня и, шатаясь, побрел к пруду.

Через некоторое время оттуда донеслась такого отборного мата, что Степан пулей бросился на голос, плохо со сна понимая, что вообще происходит.

На берегу стоял дядя Ваня с обрывком с провода в руке. Степан все понял.

— Убёг? – задал он глупый вопрос и тут же пожалел об этом, потому что дядя Ваня буквально взорвался.

— Как это «убёг»? Как он мог убежать? Кто говорил «железно»? – дядя Ваня подергал за концы вода. – Кто?

Степан отступил от разъяренного друга в сторону.

— Так... это... я, выходит, – сказал он.

— Ты? Ты его отпустил!

— Я? Ты что, спятил?

Дядя Ваня вдруг сник. Он сел в мокрую от росы траву и опустил на колени голову.

— Такой... красавец... был. Как же это?

Взяв у дяди Вани из рук провод, Степан осмотрел его со всех сторон.

— А так, – со знанием дела заключил он. – Очень даже просто. Закинул кукан на плавник и перепилил его потихоньку.

— Да, – согласился дядя Ваня. – Точно. А я-то думал, чего это он ночью все кругами ходит, да под кукан, под кукан норовит!

— Вот.

Неожиданно дядя Ваня воспрянул духом.

— А что я говорил? – бодро сказал он. – Умная рыба. Умнее, пожалуй, и нету, как ты думаешь?

Степану ничего не оставалось делать, как согласиться. Да ведь и факты – вещь упрямая, против них, как говорится, не попрешь.

Все рыбаки села вскоре узнали о необыкновенном улове дяди Вани и о том, как карп перехитрил двух рыбаков.

— Ты разболтал? – грозно хмурил брови дядя Ваня, наступая на Степана.

Тот разводил руками.

— Ни сном ни духом! – божился он.

На берегу мужики задирали дядю Ваню, выпрашивая самые невозможные подробности поимки гиганта.

— На что поймал-то? – спрашивал какой-нибудь любопытный.

— На слизня, – отвечал дядя Ваня.

— Рассказывай! Будет тебе карп на слизня клевать.

— А вот клюнул!

Рыбаки не верили. И правильно. Никто из них не знал ни одной детали. А заключалась она в том, что на следующий день после поимки знаменитого карпа друзья набрали в огороде у Степана с капусты целую банку слизи и весь вечер ждали поклевки. Не дождались, разумеется.

— Слизень не тот! – определил, наконец, дядя Ваня. — Этот огородный, а мой лесной был.

— Какая разница? – не соглашался Степан.

— Большая, – коротко ответил дядя Ваня и замолчал, будто бы и впрямь знал эту разницу.

А для тех, кто сомневался, что карп весил ровно 9 килограмм тютелька в тютельку, Степан извлекал из кармана чешую и, держа её между большим и

указательным пальцами, предлагал неверам на всеобщее обозрение. Они смотрели на чешую и уважительно присвистывали, а некоторые изрекали:

— Да-а!

А дядя Ваня гордо поглядывал вокруг и не произносил при этом ни единого слова. Иногда только вступал в спор, это если интеллект карпиный при-
нижали. Да и то, собственно, он не спорил, а уверенно, со знанием дела, заявлял:

— Умнее карпа рыбы нет!

Таково было отныне его кредо.

ИЗ КРИМИНАЛЬНЫХ РАССКАЗОВ

Пузырь, соломинка и лапоть

... И вот мы стоим все трое в шоке – я, Серега Толстый и Людочка – на обочине лесной дороги и обалдело смотрим на дымящуюся в кювете «шестерку». А над лесом высоко в небе висит тонкий и острый как серп месяц.

Нам еще повезло – все живы. Я малость щеку порвал, да Людочка ногу ушибла, а у Толстого вообще ни царапины. Машине, конечно, кранты, что правда то правда. Тут уж ничего не поделаешь. И ладно, потому что в подобных случаях, чаще всего вызывают труповозку.

А начиналось всё куда как хорошо. Ну, не то чтобы хорошо в полном смысле этого слова, но однако довольно-таки гладко. Впрочем, лучше рассказать по порядку.

1.

Бывают такие дни, которые кроме как «черными» не назовешь. Это когда приходится считать, сколько у тебя в кошельке осталось. В один из таких вот дней в середине лета я сидел и, глядя на отощавший бумажник, прикидывал, как долго удастся протянуть, если не отдавать долги. Получалась неутешительная картина: за квартиру надо отдать хозяйке четыре тысячи, на еду примерно столько же придется потратить, джинсы новые покупать нужно, старые совсем изорвались, это, взять хотя бы туфту на Мытном рынке, и то, по меньшей мере, штука. А в лопатнике – около трех тысяч деревянных, все, что осталось от удачной аферы с продажей лицензии на отлов рыбы в пруду, где и без разрешения можно ловить сколько хочешь.

Воспоминаниями живот не набьешь. Между тем подходящего случая, чтобы урвать быстрые деньги, в перспективе не предвиделось. Но я вот что вам скажу: уж если судьбе угодно взять тебя за шиворот и вытащить из болота, будьте уверены, она это сделает.

В дверь позвонили. Посланцем судьбы оказался Серега Толстый.

— Привет, – сказал он, продолжая жевать. Серега всегда что-нибудь жует, это у него, как он говорит на нервной почве. Я посторонился, пропуская Серегино пузо к дивану.

— Привет.

— Поставь чайку для гостя, аскет новоявленный. Кстати, поесть у тебя хоть что-то найдется?

— А то переночевать негде? – съязвил я и поплелся на кухню включать чайник.

После чая и трех бутербродов с сыром, положивших конец всем моим запасам в холодильнике, Толстый сказал:

— Старик, у меня есть идея.

Сердце у меня ёкнуло. В Серегиной голове время от времени рождались неплохие идеи, как, где и кого окучить. Иногда мы эти идеи весьма успешно реализовывали. Случались, правда, и проколы. Но не это главное. Я обрадовался потому, что своих идей у меня не было, а если они порой и возникали, то чаще гроша ломаного не стоили. Вот как, например, недавно, с земельным участком, когда мы едва не загремел в места не столь отдаленные, откуда, по правде говоря, не очень давно вернулись, а потому еще не успели соскучиться.

— Выкладывай! — я подвинул Сереге последний бутерброд, который намеревался съесть сам. Толстый заработал челюстями.

— Тут такое дело, — начал он рассказ. — Километров за пятьдесят от города по Московской трассе живет целитель — то ли Касьян, то ли Кузьма, не слыхал?

Я отрицательно покачал головой.

— Ладно. Сеструха моя Верка ездила к нему.

— Зачем?

— Лечиться. Про него молва идет, будто всё лечит.

— Верке-то чего лечить? — пожал я плечами. — Корова здоровенная.

— Ну, брат, бабам всегда найдется чего лечить, была бы охота. — Толстый закурил сигарету из моей пачки.

— Свои кури, — сказал я и отодвинул «Winston» на край стола.

— Как был ты, Димон, жмотом, так жмотом и остался.

— Я, между прочим, безработный.

— А я?

— Ладно. Так что этот экстрасенс?

— Народный целитель, — поправил Серега.

— Одна малина.

— Одна, конечно. Но теперь они так себя называют.

— Нам-то какое дело?

— Ты слушай.

И Толстый рассказал, как целитель Касьян или Кузьма пудрил Верке мозги, будто у него руки обладают особым даром, предложил ей раздеться, чтобы, значит, найти, где на ней порча.

— Нашел? — хмыкнул я.

— Ничего смешного! — обиделся Серега. — Если бы твою сестру...

— Нет у меня сестры. Я, слава Богу, сирота.

— Счастливчик!

Короче говоря, продолжил Толстый, лапал лекарь Верку, лапал, а потом объявил, что порча у нее глубоко и поэтому лечить надо не руками, а к другим.

Я не удержался и захохотал. Серега смотрел на меня осуждающе.

— Верка, кстати, не первая, её к целителю отправила подруга, которую он вылечил от бесплодия.

— Тем же способом? — спросил я, просмеявшись.

— Скорее всего, — многозначительно ответил Серега.

— Нам-то что с этого секс-маньяка?

— Не сечешь?

— Не секу.

— Напряги мозги, брателла! – Толстый откинулся на спинку дивана и, выждав паузу, сказал. – Мы его раскрутим!

— Как?

Глаза Толстого горели неугасимым огнем азарта.

— Вот что я придумал, – заговорил он таинственно, словно кто-то мог нас подслушать. – Как ты понимаешь, если мы сами к нему заявимся, он едва предложит нам раздеться.

— Кто знает? – вставил я.

— Не перебивай! – нетерпеливо воскликнул Серега. – Мы сделаем по-другому. Мы отправим к целителю мою Людку, а сами будем на стреме. Как только разденется, а экстрасенс ручонки распустит, мы его прищучим! А?

— Как?

— Что – как?

— Как мы его прищучим? Из-под кровати, что ли, вылезем? Он, поди, не дурак, двери-то на засове держит?

— А это уже детали! – удовлетворенно сказал Толстый, кося на меня хитрым глазом. – Ты, я вижу, в принципе, согласен?

Я полез за сигаретой.

— Постой. Мы его, выходит, шантажируем?

— Можно и так сказать.

«Winston» показался мне пресным.

— Статья 163-я, часть вторая, вымогательство лиц по предварительному сговору. – Все пункты этой статьи уголовного кодекса я знал назубок. – От трех до семи.

— Брось! – махнул рукой Серега. – Он что, в ментовку побежит? Да его самого за такие дела упекут!

Резон в этом был, конечно. Я слушал с интересом Серегины аргументы.

— А у нас фото, а может, и видео, – продолжал он. – Он у меня за сестру ответит, сволочь. И хорошо ответит, я думаю, тысяч сто выложит, как миленький!

Толстый погрозил кулаком в сторону окна, за которым сгущались сумерки, будто видел там испуганного бедолагу экстрасенса, уже готового щедро расплатиться за свои развратные действия.

Что ж, ничего другого, кроме пользы наше вмешательство в жизнь пройдохи-целителя принести не могло. Конечно, закон на это смотрит почему-то по-другому. Ну, да, ведь расхождений УК со здравым смыслом, к сожалению, немало. Тот, кто его писал, с нами не консультировался. А зря.

Грех отказываться от верного дела, подумал я и сказал:

— Ладно. Давай обсудим детали.

Мы с Толстым склонились над столом и, как генералы в Филях, стали разрабатывать предстоящую операцию.

2.

На следующий день мы собрались втроем в кафе «Мишель», и Серега познакомил с нашим планом свою подружку. Оказалось, что уговорить Людочку не так просто, как мы предполагали.

— Сами вы извращенцы! – искренне возмущалась она и даже ударила Толстого сумочкой по голове. Он, правда, успел отклониться. – Два дегенерата! – ругалась Людочка, и зеленые глаза её метали молнии. – Я, значит, буду раздеваться перед чужим мужиком, а вы фотографировать?! Дуру нашли! Может, он меня еще и трахнет, а ты, толстопузый, будешь слюни пускать?

Гнев женщины справедливо обрушился на Серегу. В конце концов, это была его затея. Я молча на' дал за баталией, отодвинувшись к стене. На удивление Толстый повел себя спокойно.

— Угомонись, фурия! – как бывший студент педуниверситета, Серега в волнении употреблял архаичную лексику, но, случалось, когда волнение выходило за пределы, и ненормативную. – Сядь и слушай.

Ухватив Людочку за рукав джинсовой куртки, он посадил её на стул и еще какое-то время придерживал, чтобы она снова не начала размахивать сумкой.

— Отказаться ты сумеешь всегда, – убедительно заговорил Серега. – Выслушай сначала наш план, откажешься, не беда – другую найдем.

Последний аргумент на Людочку подействовал.

— Сейчас! – обиженно произнесла она сквозь зубы. – Давай, рассказывай.

Серега не заставил себя ждать и изложил план операции со всеми подробностями. К концу я видел, что подруга его уже согласна.

— Ну как? – спросил Толстый, отпуская Людочкину руку.

— Сколько? – спросила Людочка.

— Что – сколько? – переспросил Серега.

— Сколько вы, два придурка, намерены с него взять? – перешла Людочка на деловой тон.

Толстый потер руки.

— Вот это разговор! – радостно произнес он. – Давайте-ка пока перекусим. Что тут дают? – и, подвинув к себе меню, окликнул девушку-официантку, – Эй, хозяйка!

— Не отвлекайся! – оборвала любителя пожевать подружка. – Сколько?

Я решил опередить ответ Сереги, чтобы он не сказал лишнего.

— Тысяч тридцать, – сказал я.

— Тридцать? – переспросила Людочка.

— Ну да.

— Рублей?

— Не баксов же!

Людочка засмеялась:

— Я же говорила – два дурака! Валенки! Разве можно вам делами заниматься?

— А что ты думала? – возразил я. – Златые горы?

— Ну не тридцать же тысяч!

— А разбитое корыто не желаете? – с сарказмом произнес Серега.

Людочка посмотрела на него, взгляд её выражал сочувствие.

— И сколько же ты мне думал отстегнуть? – спросила она.

— Тысяч пять-шесть твои.

— А не маловато, дружок?

— Идея не твоя.

— А чья?

— Моя! – отрубил Толстый.

— И раздеваться ты будешь? А может, и не раздеваться...

Тут подошла официантка, чтобы принять заказ.

— Заткнись! – тихо сказал Серега, начиная злиться.

Мы заказали два зеленых чая с пирожными, Людочка молочный коктейль.

Когда официантка шла от нашего столика, я предложил прекратить спор и перейти к делу.

— Или к телу! – усмехнулась Людочка.

— Хватит! – вскипел Толстый. – А то впрямь другую возьмем.

Не растерявшись, Людочка воспользовалась известным приемом Остапа Бендера, заявив с независимым видом, что у неё есть все шансы заняться этим делом без нас.

— Вот ведь мегера! – ругнулся Серега. – Чего ты хочешь?

— Справедливости, – скромно сказала Людочка. – Кто будет платье снимать?

— Ну ты, ты!

— Ага. Поэтому предлагаю поровну.

Тут нам принесли заказ, и Серега сразу кинулся набивать рот пирожными, что его несколько смягчило.

— Поровну так поровну, – сказал он. Я решил, что самое время вмешаться.

— Поровну – это как? – спросил я.

Оба уставились на меня, как будто видели впервые.

— Пять тебе, остальное мы делим на двоих, – заявила наглая представительница слабого пола.

У меня отнялся язык. Толстый молчал, как рыба.

— Ну ты даешь! – наконец выговорил я.

— А что? – почувствовав уверенность, Людочка перешла в наступление. – Скажи сам без штанов перед экстрасенсом!

— У него традиционная ориентация! – хохотнул Толстый.

Мысли мои тем временем пришли в порядок, и я спокойно сказал, литературно выражаясь:

— Мы делим шкуру неубитого медведя.

— И то, – промычал с набитым ртом Серега. – Может, «экстрасекс» и того не даст. Так что...

— Давайте так, – перебила Людочка. – Я пошутила. Делим на троих, сколько бы ни дал. И накладные тоже поровну. Идет?

Мы переглянулись и одновременно ответили:

— Идет.

— Но с вас сто баксов за раздевание! — быстро добавила неугомонная Людочка.

— Стриптиз подорожал? — не удержался я.

Сергеа поперхнулся пирожным.

— Вот видишь, — обратился он ко мне. — Такой в рот не клади.

— Да уж, — только и сказала она.

На двоих у нас с Сергеем у нас была старенькая «шестерка», а у Людочки карманный цифровой фотоаппарат «Sony», мощностью пять мегапикселей. Это стало технической базой предприятия. Да, еще Толстый имел пневматический пистолет «Walter», который, по мнению хозяина, вполне мог сойти за боевое оружие в глазах деревенского «экстрасекса», как упорно называл целителя Сергея.

С финансами было сложнее, но все же наскребли некоторую сумму, после чего в моем бумажнике осталась одна единственная синяя бумажка. И как, скажите, прожить на тысячу рублей в наше время?

Через день Людочка отправилась на разведку.

3.

— Ну, я вам доложу, и гусь этот целитель! — с восхищением рассказывала о результатах поездки Мата Хари. — Еще тот гусь!

Мы сидели в открытом кафе на Откосе. Внизу синела река. Ветер с Волги старался опрокинуть пластиковые стаканчики с растворимым кофе у нас на столике.

— Чего это ты такая веселая? — хмуро спросил Серега. — Видно, с «экстрасексом» нашли общий язык!

Людочка закурила длинную сигарету, молчала, щурясь от дыма, а я глядел на неё и думал, что скоро, при удачном раскладе отдам долги и заведу вот такую же красивую бойкую девчонку, хоть вон ту официантку, которая уже дважды стрельнула на меня глазами. Без «бабок» такую не охмуришь, а как только бумажник потолстеет, так все будет возможно.

— Уже раздевалась? — продолжал между тем допрос Толстый.

— Нет, — ответила Людочка. — Представь себе, не раздевалась. Хотя Степан Витальевич предлагал осмотреть.

— Вот как. Зовут его, значит, Степан Витальевич.

— Да. Знаете, мальчики, никогда еще не видела человека так похожего на кота! Даже усы и то какие-то кошачьи!

— Это ладно, — сказал я. — Пусть хоть на крокодила будет похож. Перейдем к теме.

— Вот именно, — поддержал меня Серега.

И Людочка рассказала, как целитель, называющий себя учеником и последователем Григория Гробового, определил у неё страшную порчу — «на смерть», которую, тем не менее, обладая чудодейственным даром, брался с тела Людочки снять, а все её немощи лечить.

Я оглядел Серегину подругу – меньше всего она похожа на немощную. Мне послышалось, будто Толстый хрюкнул.

— Опять порча! – возмущенно воскликнул он, вспомнив, видимо, сестру.

— Что значит – опять? – с подозрением спросила, которая ничего не знала о событиях, положивших начало нашей затее. И ни к чему ей было знать лишнего – меньше знаешь, крепче спишь. Поэтому я поспешил с объяснениями:

— Эти экстрасенсы всегда порчей пугают, как, кстати, и цыганки. Вот, помню...

— Погоди, – перебил меня Толстый. – Пусть рассказывает.

— А что – дальше? – пожала плечами Людочка. – Договорились, что я еще приеду.

— Нет, вы посмотрите на неё! – от возмущения Серега даже поперхнулся. – Тебя зачем посылали? А? Все осмотреть и запомнить.

— Я и запомнила.

— Кошачьи усы ты запомнила! Признавайся, раздевалась?

— Ревнуешь! – Людочка провела ладонью по лысоватой голове Толстого.

— Еще чего! Мне до фонаря.

То, что ему не до фонаря я видел невооруженным глазом, да оно и понятно, кому было бы в кайф знать, что твоя девчонка раздевается перед каким-то, пусть придурочным, но все же мужиком? Но на что ни пойдешь ради дела!

— Хорошо, – призналась Людочка, искоса поглядывая на Серегу. – До пояса он меня осмотрел.

— Вот гад! – с чувством произнес Толстый и отправил в рот кусок песочного пирожного. – Без этого нельзя было?

— Нельзя, – твердо заявила разведчица.

— Баба она и в Африке баба! – резюмировал почему-то сразу успокоившийся Серега.

— Между прочим, – возмутилась Людочка. – Зачем ты меня к нему посылал?

Толстый отхлебнул остывшего кофе.

— На разведку.

— Вот я и разведала.

— Тут, если можно, подробнее, – прервал я их нескончаемый спор.

Затушив сигарету, Людочка пригубила кофе и сморщилась. Потом она с деталями описала деревню, которой живет целитель, его дом и соседей.

— Жуткое жилище! – передернула Людочка плечами. – Везде чучела – птицы, звери... Голова кабана в прихожей – ужас! Даже запах как в берлоге. Бр-р-р! А в комнате, правда, иконы, много икон. И лампада горит. Все равно – страшно. Мы договорились встретиться через неделю в восемь вечера.

Серега снова хрюкнул, но ничего не сказал.

— Надо подготовиться серьезно, – сказал я. – Кстати, мне кажется, нам с тобой, Серый, следует заранее скатать в это село, чтобы на месте, как говорится, оценить обстановку.

— Согласен, – кивнул Толстый.

Разговор принял, наконец, деловой характер.

— Есть вопросы, — обратился я к Людочке. — Откуда и как можно сфотографировать то, что будет делаться в доме? Придет ли кто на помощь, если он будет орать? Запирает ли лекарь двери?

— Двери он запирает, — подтвердила Людочка. — Я обратила внимание. Но ключ остается в двери.

— Вот это уже неплохо! — оживился Толстый. — Ты дверь и отопрешь.

— Как?

— Думай. И постарайся.

— А почему он будет орать? — настороженно спросила Людочка. — Вы, что, пытаться его собираетесь?

— Это уж как карта ляжет, — ответил Серега.

— Да вы что, с ума сошли!

— А тебе что — жалко? — прищурился Толстый.

— Шутит он, — сказал я. — Не видишь, что ли?

Мы еще долго обсуждали все нюансы предстоящего дела. Так увлеклись, что Серега про пирожные забыл, небывалый случай. А ближе к вечеру того же дня мы с ним отправились в Микиткино, село, где подвизался народный целитель Степан Витальевич Мотыга.

«Мотыга» оказалось не погонялом, а настоящей фамилией экстрасенса, я сам уточнял у местных жителей, когда мы прикатили на «шестерке» в Микиткино. На площади, где в ряд стояли два магазина и покосившаяся доска объявлений, к машине подскочил, словно из-под земли вырос, старик в грязной капитанской фуражке с кокардой.

— Степка? — старик приосанился, выгнул грудь колесом. — Э-эх! — он потряхнул кулаком, не в силах сложить чувство. — Э-эх! Мать его!.. В очередь... Да. Из разных концов земли... Айболит наш... Всех лечит поголовно... Нопасаран! — неожиданно перешел дед на испанский и, сорвав с головы фуражку шмякнул ее оземь. — Дайте на пиво строителю коммунизма, граждане!

На пиво мы ему дали, и старик, услужливо кланяясь, показал нам улицу, ведущую к дому «айболита», а сам мгновенно исчез в недрах приземистого строения с криво прибитой чуть выше двери вывеской — «Орион».

— Ну что, — сказал Толстый, залезая в машину. — Дальше идти тебе одному.

— Почему мне?

Серега посмотрел в зеркало заднего вида и с грустью в голосе произнес:

— Рожа у меня того... неподходящая.

— Чем же это она у тебя неподходящая?

— Сам погляди. Прямо скажем, бандитская рожа. А у тебя вполне подходит.

— Для чего?

— Для знакомства с «экстрасексом». Хоть с Гробовым или даже Кашпировским. — Серега явно льстил. — А что? Выглядишь ты вполне интеллигентно. Разговаривать тоже умеешь, когда захочешь. Переодеть бы тебя только... Джинсы рваные и майка того... Ну, да ладно, чего там — вперед и с песней!

В словах Толстого была, конечно, правда. Ведь, если бы он пришел к целителю, так тот, да и никто другой, не поверил бы, что такой бугай чем-то болен. А я с натяжкой, конечно, но все же мог бы сойти за больного.

— Ладно, – сказал я и пошел, обходя гигантские лужи, по дороге к жилищу нашей жертвы.

Дом Мотыги оказался невысоким, в три окошка, и отличался от остальных по улице лишь тем, что шит был желтым сайдингом, наподобие так называемых «мини-маркетов», в последние годы, как расплодившихся вдоль магистральных дорог нашей необъятной Родины. К дому вела мощеная булыжником дорожка, а электрический звонок был выведен на калитку, за палисадник, густо засаженный разнообразными цветами. Четыре стройных можжевельниковых дерева, как свечи, стояли вдоль фасада.

Трижды нажав кнопку звонка, я стал ждать. Долго никто не появлялся, а потом дверь приоткрылась, из неё почему-то боком вышел мужчина, в котором я сразу опознал экстрасенса, потому что он, действительно, сильно смахивал на кота. Меня часто поражает сходство людей с животными и даже с птицами и рыбами. Был у меня приятель в ранней молодости Сашка – так он был вылитый ёрш – глаза круглые, а волосы пегие и жесткие как спираль, так и торчат во все стороны, как иголки на спинном плавнике у ерша, когда его с крючка снимаешь. Мало того, у Сашки и фамилия была Ершов. А вертухай Лисицын у нас на «пятерке»? Морда тонкая и вперед вытянутая, ну лис и все тут, хвоста рыжего не хватает. И повадки у него лисьи. Вот вам загадки природы. Так я размышлял, наблюдая, как хозяин дома шагает от крыльца до калитки.

— Мне бы Степана Витальевича, – вежливо обратился я к подошедшему, разглядывая его удивительные усы, которые не висели и не торчали вверх, но, как компаса, располагались параллельно земной поверхности. Не удивительно, что Людочка на них обратила внимание.

— Слушаю вас, – ответил котяра и прищурил глаза, пристально меня осматривая.

Гляди-гляди, усмехнулся я про себя, немного выглядишь, а вслух сказал вежливо:

— Болею, Степан Витальевич. Добрые люди к вам послали. Вот приехал из... издалека.

— Проходите, – сказал целитель и тяжело вздохнул, всем видом показывая: вот, дескать, ходят тут всякие, отдохнуть некогда, да что поделаешь, таков крест, а крест, как известно, нести надо без ропота.

Что ж, подумал я без сочувствия к экстрасенсу, неси – у каждого своя «*via dela rosa*», как объяснял нам в лагере проповедник, больной на голову чудаком из адвентистов седьмого дня. Никуда от неё не денешься.

Мы пошли в дом.

4.

Я, как зачарованный, уставился на квадратную бутылку «Jack Daniels», которая стояла на столике в под иконами, солидная и надежная как граната

времен второй мировой войны. Ни хрена себе, подумал я, да у этого экстрасенса губа не дура. Покопавшись в памяти, я так и не вспомнил, когда последний раз пил американское виски. И шотландское не помню когда. И ирландское тоже. Мотыга перехват взгляд.

— Выпиваете? – спросил он мягким кошачьим голосом.

Интересно, хотел бы я посмотреть на того, кто не выпивает.

— Нет, – сказал я и сглотнул слюну.

— Так-так. И что же вас привело ко мне?

Что бы такое придумать? Надо было сказать, что пью, да теперь уже поздно. Из часов неожиданно выпрыгнула кукушка и прокуковала восемь раз. Это помогло мне сосредоточиться. И я шлепнул первое, что пришло на ум.

— У меня... э-э, видите ли, мужские проблемы, если можно так сказать.

— Невстаниха? – прямо и грубо спросил Витальевич. Мне показалось, что он даже как-то оживился. Я кашлянул.

— Не знаю, как это по-научному называется..

— Так и называется – невстаниха.

Экстрасенс явно брал инициативу в свои руки. Это мне не нравилось.

— Насколько мне известно, традиционная медицина использует термин «эррективная дисфункция» – бесстрастным голосом сказал я, припомнив выражение рекламного блока радио «Шансон» и посмотрел прямо в глаза целителю.

— Традиционная медицина? – смутился он. – Возможно. Я практикую народные методы.

Ага! Взгляда не выдержал, отвел кошачьи глазки! Так держать, Димон! Я оглядел еще раз комнату. Тетерев рядом с часами выглядел как живой. Через окно не сфотографируешь, вон как плотно, сволочь, занавески задернул. Остается дверь.

— Можно вылечить эту... невстаниху? – с неудовольствием произнес я неприятное слово, присматриваясь к задвижке на двери. Людочка говорила, про ключ, а тут еще и задвижка.

— Вылечить все можно, – осторожно сказал Мотыга. – Но сначала, как вы понимаете, надо разобраться в причине болезни, поставить, так сказать, диагноз. Грамотно излагает, паразит, подумал я. А задвижку хорошо бы смазать.

— Да-да, – кивнул я рассеянно, – диагноз, конечно, надо.

Мотыга поднялся со стула и шагнул ко мне.

— Вот и замечательно, – сказал он, – снимите майку, сейчас я вас осмотрю.

Мама мия! – бухнуло у меня в голове. Только этого не хватало... Он еще и мужиков осматривает!.. Ну уж нет!

— А что тут смотреть? – голос у меня огрубел. – Все на месте!

— Я не сомневаюсь. Но вы говорили...

— Ну да, говорил, бывают иногда сбои.

— Так-так! Бывают все-таки? – прищурил Степан Витальевич кошачьи глаза, и мне показалось, что он сейчас замурлыкает. А в лапках-то, небось, наготове стальные коготки!

— Случаются.

— Не иначе как порча на вас. Враги наговор сделали, причем — на смерть.

Хоть я ни во что и не верю, особенно в байки про порчу и тому подобное, но тут вдруг почувствовал, как по спине пробежал холодок. Я поднял голову. Мотыга стоял передо мной. Взгляд целителя был прикован к левому плечу, с которого скалил клыки искусно вытатуированный на зоне тигр. Так! Может, это тебе о чем-нибудь скажет, думал я, наблюдая за лекарем. А то и могу и майку снять, пусть поглядит на всю картинную галерею, которую в назидание потомкам оставил на моем брэнном теле опальный живописец Толгат Касимов. Пугнуть его, что ли? Нет, пускай все идет по плану. Держи, Димон, ухо остро, тут стреляный воробей, такого, как говорится, на мякине не проведешь. Ну, да и мы не лаптем щи хлебаем!

— Вы бы мне водички какой-нибудь дали, целебной, — спросил я, отметив, что рядом со шкафом еще одна, почти незаметная дверь, на ней даже ручки не было. Людочка про неё не говорила, наверное, не заметила.

— Непременно! Непременно дам водички' — будто даже обрадовался лекарь и, запустив руку под стол, выхватил оттуда трехлитровую банку, в к которой плескалась вода. — Вот она, водичка-то! Как раз та, что нужно. Пейте натошак с молитвой, и все будет хорошо. А через пару недель ко мне загляните, буду ждать.

Степан Витальевич аккуратно налил воду в пустую бутылку из-под минералки и протянул мне. В общем-то, я все увидел и узнал, что нужно. Можно уходить. Но хозяин предложил прочесть надо мной молитву, и я согласился. Встав у меня за спиной, целитель бормотал непонятные слова и водил над моей головой руками. Вдруг мне захотелось спать, и я понял, что, если сейчас же не уйду из этого дома, то просто-напросто упаду и засну, как сурок.

— Ну, мне пора! — как мог бодрым голосом проговорил я, поднимаясь со стула.

— Вы на машине приехали или на рейсовом автобусе? — зачем-то спросил Мотыга, и меня так и подмывало сказать ему, что я приехал на машине с Серегой, который ждет меня у «Ориона», но я собрался с мыслями и ответил:

— На автобусе. У меня нет машины.

После этих слов в голове у меня затуманилось и я плохо помню, как экстрасенс проводил меня на крыльцо. Проходя сенями, я крепко стукнулся лбом о голову кабана, прибитую на стене, после чего пришел в себя. Сна как не бывало.

— Чучела у вас знатные, — сказал я на прощанье Степану Витальевичу.

— Увлекаюсь, знаете ли, — он небрежно махнул когтистой лапкой. — Люблю животных.

Странная какая-то любовь, подумал я, отмечая, отмечая, что из сеней есть еще одна дверь, видимо, во вторую половину дома. И двор, вход с улицы, скорее всего, есть и другой — со стороны сада.

— До свидания.

— Желаю здравствовать, — ответил кот Базилио, пряча глаза.

Когда я вернулся к «Ориону», Толстый нетерпеливо курил, нарезая круги вокруг машины.

— Ну? – спросил он, затоптав окурок.

— Поехали!

По дороге я рассказал Сереге о том, что было в доме у Мотыги.

— Хитрый черт, – закончил я. – Мне кажется, он меня заподозрил.

— В чем? – пожал плечами Толстый.

— Не знаю, но как-то неестественно он себя вел. С опаской что ли.

— Так это как раз естественно. Представь, является этакий громила с наколкой на плече и лепит про невстаниху...

— Сам говорил, что вид у меня интеллигентный.

— Ну это, как посмотреть. Вот «экстрасекс» и насторожился. Пусть. Теперь мы о нем и его логове знаем достаточно. А гипноз нам, как мертвому припарки. Через неделю заявимся с визитом вежливости, и все встанет на места: он при своих способностях, мы – при его бабках.

Но я не разделял его оптимизма. На душе было почему-то скверно.

«Шестерка» резво бежала по лесной дороге, и вскоре впереди засияли огни большого города

5.

Мы оставили машину в глухой улочке на окраине села. Прошли знакомым путем к «Ориону». Несмотря на поздний час, возле него ошивался тот же старик, только на этот раз вместо капитанской фуражки на его голове чудом держалась круглая феска с кисточкой. Я и Толстый оставались у магазина, а Людочка должна была идти к лекарю.

— Запомни, – давал ей последние наставления Серега, – не спеши, делай все натурально, не переигрывай. Не забудь про задвижку и ключ. Как только мы ворвемся в дом, хватай шмотки и дуй к машине – Толстый протянул ей ключи. – Пусть у тебя будут. Сиди тихо и жди нас. Поняла?

— Поняла, – коротко ответила Людочка и исчезла в темноте. Спустя некоторое время, мы пошли за ней. За нами увязался старик, представившийся на этот раз жертвой сталинских репрессий, но Толстый без церемоний послал его подальше, и тот отстал.

Вокруг было тихо и спокойно. Где-то вдалеке скрипел коростель. В лунном свете хорошо был виден желтый дом Мотыги. Мы уселись на скамейку под липой напротив. Хотелось закурить, но Серега категорически возражал, и я просто зажал в зубах незажженную сигарету.

Наконец свет в одном из окон погас и снова загорелся. Это был условный сигнал – Людочка своё сделала. Мы бросились к дому. Я бежал первым, Толстый – за мной. На ходу я натянул на лицо спортивную шапочку с прорезанными дырами для глаз. Серега сделал то же и расчехлил фотоаппарат. Дверь в нужную половину оказалась незапертой, и мы сразу ворвались в помещение.

Посреди комнаты под люстрой стояла в чем мать родила Людочка. Она вскрикнула и бросилась в сторону, где лежала её одежда. Мотыга стоял у стола, выпучив глаза и открыв рот.

— Ну что, извращенец, доигрался! — сразу взял быка за рога Толстый, щелкая направо и налево фотоаппаратом. Вспышка так и сверкала.

— Что такое? — пролепетал белый с синюшным оттенком, как листок финской бумаги, целитель. — Кто вы?

Я занял место у шкафа, где находился второй выход и видел, как Людочка с одеждой в руках выскользнула за дверь. Теперь она была в безопасности.

— Мы? — хрюкнул под маской Толстый. — Мы, выронок, благородные мстители!

— Что вам нужно?

Серега похлопал рукой по висящему на шее фотоаппарату.

— А как ты думаешь?

— Если вы хотите меня ограбить, — мягким голосом замурлыкал Мотыга, — то у меня ничего ценного нет.

Стоило мне услышать этот голос, как я почувствовал опасность. И тут же захотел спать. Но на Толстого мурлыканье Степана Витальевича не произвело никакого впечатления.

— Ну-ну! — сказал он строго, поигрывая пистолеты. — Ты лапшу на уши бабам вешай. С нами этот номер не пройдет.

— Но я... — Мотыга отошел от стола и встал у божницы, где едва заметно горела лампадка. — Богом клянусь!..

— Не клянись ни небом, ни землей, никакой иной клятвой! — неожиданно процитировал Толстый из Священного Писания, что было, пожалуй, не совсем к месту. — Короче, гони бабки!

— И сколько же вы хотите за это? — целитель показал на фотоаппарат.

— Сто тысяч! — не раздумывая, выпалил Серега.

Повисла пауза. Наконец Мотыга согласно покачал головой и произнес мертвым голосом.

— Я согласен.

В моей голове во всю мощь зазвучали бравурные звуки 40-й симфонии Моцарта. Но не успел закончиться первый такт, как свет в комнате погас.

— Эй! — раздался в крошечной тьме голос Толстого. — Что за фокусы? А ну-ка включи лампочку рептилия!

Свет зажегся. Лекарь продолжал стоять, где стоял раньше, но зато на пороге, откуда ни возмись, возникли два мента. В руках у того и другого поблескивала вороненая сталь «макарычей».

— Брось пугалку, приятель! — сказал тот, повыше в капитанских погонах, а другой прошел мимо меня и закрыл собой вторую дверь.

Толстый разжал пальцы, и «вальтер» со стуком упал возле его ног.

— Вот теперь поговорим! — бодрым, совсем не похожим на кошачий, голосом произнес Степан Витальевич. — Что, думали, на дурака напали? Да я вас

раскусил неделю тому назад, когда вот этот импотент, – он мотнул головой в мою сторону, – приперся сюда следом за девкой.

Ни я, ни Серега не могли вымолвить ни слова, настолько нас шокировал поворот дела. Даже обидное слово «импотент» не вывело меня из ступора.

— Говорить тут нечего, – обрезал капитан. – Сейчас поедem в отдел, там и потолкуем.

Между тем я видел, что они не торопятся. И тут пришла в голову мысль, что менты хотят с нас капусту получить. Да и менты ли это вообще?

— Может, здесь договоримся? – предложил я, многозначительно глядя на онемевшего Серегу.

— Как это здесь? – в голосе капитана слышалась заинтересованность.

— Ну, скажем так, мы могли бы заплатить вам за доставленное беспокойство.

Капитан ухмыльнулся.

— И во сколько же вы оцениваете свою свободу?

— Отдадим все, что есть с собой, – изрек опомнившийся Толстый и незаметно мне подмигнул.

Оба мента, а с ними и Мотыга заржали, причем у того, что закрывал дверь, обнажились две фиксы, и это навело на мысль, что никакие это не стражи порядка. Мне не надо объяснять, где и как приобретают подобные фиксы.

— Нет, парни, столько денег, сколько стоит ваша свобода, с собой не носят! – сказал капитан. – Давайте искать другие пути. Между прочим, чтобы вы не строили иллюзий – девчонка ваша у нас, в залоге, так сказать.

Мы переглянулись. Такой расклад, безусловно, осложнял дело.

— И чего вы хотите?

В следующую минуту окна осветились фарами, и последовавший за ним сигнал я узнал бы из тысячи. Наша «шестерка»! Дальше надо было не думать, а действовать. Не сговариваясь, мы рванулись с мест. Толстый ухватил за горлышко бутылку из-под виски и нанес ею удар по голове капитану. Краем глаза я видел, как тот отклонился, и заморский друг «Jack Daniels» обрушился ему на плечо. Но и этого было достаточно. Мент заорал и повалился под стол. Я с разворота изо всех сил пнул в пах второму менту, и когда он сложился пополам, ударил его снизу сложенными в замок руками. Только схрупало. Наверно, нос успел подумать я. Мотыга бросился к двери, Толстый перехватил его и одним ударом в челюсть уложил на пол.

— Ноги! – крикнул Серега.

Меня не пришлось уговаривать. Выскочив из дома, и со спринтерской скоростью одолев расстояние до калитки, мы рухнули в машину, дверцы которой уже были распахнуты. Людочка нажала на газ, и мотор взревел, как раненый слон. Вздвигнутая «шестерка» подпрыгнув, понеслась по дороге прочь из Микиткино.

Толстый откинулся на спинку сиденья и ругался, как десять пастухов вместе взятых. А я утратил на какое-то время способность говорить, тупо

смотрел в затылок Людочки, и мысли беспорядочно прыгали в голове – ни за одну из них не удавалось ухватиться.

— Ты понял, что это не менты? – наконец стал материться Толстый.

Я, пораженный афазией, молча кивнул головой. Надо быть совсем дураком, чтобы не понимать, тебя кидают, как фраера.

— А все-таки мы их сделали, а? – не унимался Серега. – Чего молчите?

— Ладно, ноги унесли, – тихо сказала Людочка.

— Людка, ты молодец! – Толстый похлопал Людочку по обтянутому джинсами колену. – Как ты догадалась к дому подрулить? Этот бык в капитанских погонах сказал, что они тебя взяли.

— Не взяли, – ответила Людочка, не отрывая глаз от дороги. Тут ухаби-стый проселок кончился, и мы выскочили на асфальт. Стрелка на спидометре коснулась отметки 140. Для старушки «шестерки» это было многовато, она дребезжала и потрескивала по всем швам.

— Аккуратней, Шумахер! – сказал Толстый.

Тормоза взвизгнули, и машина повернула на лесную дорогу.

— Я выбежала из дома, – начала рассказ Людочка. – Только джинсы натянула, как вдруг вижу, в калитку крадутся два типа в ментовской форме. Ну, я залегла в цветы, а когда они вошли в дом, тихонько в окно заглянула, вижу у мусоров стволы в руках, ну я и к «Ориону». Там этот старик, помните, на пиво стрелял, уже и не пьяный совсем, попытался за мной к машине увязаться. Я подумала, он на них работает. Пришлось вырубить.

— Ты вырубила мужика? – Толстый открыл окно и закурил.

— Пришлось, – коротко ответила Людочка, и я подумал, что именно о такой девчонке я мечтал всю Жаль, что Серега мой друг, а то бы увел у него подружку.

— Да, – вздохнул Толстый. – Вот ведь как все вышло.

Они замолчали. В свете фар мимо нас проносились стоящие вдоль дороги елки и сосны. Скорость была приличная. В какой-то момент едва не зацепили лобовым стеклом зазевавшуюся сову. И вдруг Серега захохотал. Он хохотал и хохотал, даже с сиденья сполз. Я подумал, что, возможно, он сошел с ума. Бывает такое от стресса. Людочка остановила машину.

— Ну, ты чего? – спросила она. – Свихнулся?

Значит, и ей показалось, что у Сереги крышу снесло. А он сквозь смех чушь какую-то несет:

— Пузырь, соломинка и лапоть.

— Что-что? – обрел я, наконец, дар слова.

— Пузырь, соломинка и лапоть, – со слезами на глазах повторил Серега, не переставая смеяться.

Ну, думаю, точно, приехали! Мы с Людочкой переглянулись, мол, все ясно. А Толстый говорит:

— Сказка такая. Пузырь, соломинка и лапоть. Отец мне в детстве читал.

— При чем тут сказка?

Толстый перестал хохотать, но дышал еще тяжело.

— Так это про нас.

— Что – про нас? – спросила Людочка, с опаской поглядывая на Серегу.

— Сказка, – ответил он. – Там пузырь, соломинка и лапоть отправились в путешествие. А перед ними река. Ну, как перебраться? Пузырь и предложил соломинке перекинуться через реку, чтобы они, значит, перейти смогли. Перекинулась соломинка, и лапоть пошел, а на середине реки соломинка обломилась, лапоть упал в воду и утонул. А пузырь хохотал-хохотал да и лопнул.

Мы с Людочкой молчали.

— И что? – спросил я.

— И все! – ответил Серега.

Тут мы уже все трое захохотали. Сидим и хохочем. Машина тряслась от хохота.

— Пузырь... – с трудом выговорил я. – Соломинка... Ха-ха-ха... А я-то, я-то получаюсь – лапоть?

— Лапоть! – вытирая рукавом слезы, сказал Толстый. А Людочка лежала на руле, только плечи ходуном ходили.

Первым опомнился Серега.

— Ладно, – сказал он. – Не будем унывать, поехали. У меня дома в зачанке есть бутылка текилы, выпьем с горя.

И мы поехали. «Ретро FM» утешал нас музыкой 70-х, и Толстый громко и фальшиво подпевал веселому солисту, который задорно пел про то, как ему стоит учиться в университете на чужбине, во французской стороне.

6.

Так бы мы и до дома доехали, но скоро только сказка сказывается, да не скоро дело делается. Я всегда говорил, что уж если судьба наметила какой-либо поворот, мимо него не проскочишь. И мы не проскочили. На одном из Людочкиных виражей я увидел, что перед машиной неожиданно возникло что-то черное, и в следующий момент она в это черное ударилась со страшной силой. Пару раз крутанувшись на асфальте, «шестерка» полетела в кювет, и тут я, наверно, наверно, на какое-то время потерял сознание.

Очнулся я, услышав голос Толстого:

— Помоги его вытащить... Он весь в крови!

— Не могу. Я, наверно, ногу сломала, – ответила Людочка и всхлипнула.

Значит, все живы, подумал я и сказал:

— Сам вылезу.

И вот мы стоим все трое в шоке – я, Серега Толстый и Людочка – на обочине лесной дороги и обалдело смотрим на дымящуюся в кювете «шестерку». А над лесом высоко в небе висит тонкий и острый как серп месяц.

Перед нами посреди дороги лежит туша кабана, в которого мы въехали. Бедолагу свалили намертво, а сами, слава Богу, живы. Я малость щеку порвал, да Людочка ногу ушибла, а у Толстого вообще ни царапины. Машине, конечно, кранты, что правда то правда, ничего не поделаешь. И ладно, потому что в по-

добных случаях, чаще всего вызывают труповозку. Толстый пнул кабана и бодро произнес:

— Ну, что носы повесили? Надо с оптимизмом смотреть на жизнь, она полна сюрпризов!

— Это точно, – только и смог сказать я, уже в третий раз за этот вечер теряя способность выражать мысли словами.

— Умей держать лицо, говорят китайцы, когда...

— Плевать мне на то, что говорят китайцы, – перебила Людочка и выругалась матом, чего я никогда от неё не слышал.

Сергея пожал плечами и, развернувшись, зашагал по дороге. Нам ничего не оставалось, как пойти ним, не сидеть же тут, посреди леса, возледохлого кабана. Людочка хромала и все оглядывалась назад, а я шел и думал, зачем она оглядывается – может, ей машину жалко, а может, кабана. Наверно, все же кабана, от машины теперь какой толк, а в кабане сколько пропадает!

— Не оглядывайся, – сказал я. – А то превратишься в соляной столб.

— В какой еще столб? – спросила Людочка испуганно.

— В соляной.

— Почему в соляной?

— Потому, – ответил я, как будто знал, почему.

Людочка протянула мне носовой платок, и я прижал его к щеке. Платок быстро напился кровью.

На перекрестке Толстый повернул в сторону Микиткина.

— Эй! – окрикнул я его. – Ты куда?

— Туда! – коротко ответил Сергей, не оборачиваясь.

— Нам в другую сторону!

Сергей остановился.

— Ты думаешь, я оставлю так этого урода? – обратился он ко мне, и я увидел его сжатые кулаки. – Ты так думаешь?

— Я не думаю, – сказал я. – Я держу лицо, как говорят китайцы.

Где-то недалеко от нас вскрикнула ночная птица. Людочка схватила меня за рукав.

— Вы жестоко ошибаетесь, если так думаете, – продолжал Толстый угрожающим тоном. – Небо с овчинку ему покажется. – Сергей погрозил кулаком многозвездному небу и добавил, как мне подумалось, нечто невразумительное. – Будет извращенцу и Пелагия, и красный петух!

— Чего? – спросил я, снова чувствуя опасение за рассудок товарища.

Но он уже шагнул вразвалочку по асфальту, напевая фальшивым голосом:

Ничего на свете лучше нету,

Чем бродить друзьям по белу свету...

И белая звезда светила ему в толстый бритый затылок.

Я посмотрел на Людочку и неожиданно для себя заорал:

Тем, кто дружен, не страшны тревоги...

Звонкий женский голос перекрыл мой подсевший от волнений баритон:

Нам любые дороги дороги!..

До Микиткина было рукой подать — всего каких-нибудь десять километров.

ПОВЕСТИ

ДЕТИ СОЛНЦА

(Из рассказов Женьки Казака)

*Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят...
(Мф. 5.8)*

АКЦИЯ

Помню, подрулил я на тракторе к сельпомовскому магазину, а там Мишка-немой скучает. Мишку немым зовут, потому что он все слышит, но ничего не говорит – не может, языка у него нету. Болезнь у Мишки какая-то приключилась на языке – рак, наверное, – вот язык ему и оттяпали.

Отоварились мы, в трактор залезли и подались по обыкновению к Титычу, на кладбище. Титыч – старик культурный, он смотрителем на кладбище обретается, а в свободное время под настроение пишет в районную газету разные заметки из прошлой и настоящей жизни нашего села.

Домишка у Титыча неказистый – мох из бревен так и торчит во все стороны света – и стоит у кладбищенского забора по эту сторону впритык, что ветки акации с могил прямо в самое окошко лезут. Вонь, надо сказать, от этой акации – очуметь можно! Зато тихо тут и никто не мешает.

Подъезжаем. Я движок выключил, потому что горючее экономить надо, а мы тут надолго. Дверь как всегда не заперта, хотя в доме Титыча нет. Мишка-немой поставил на стол бутылку и стал глядеть в окно, где сквозь эту чертову акацию просматривались кресты да памятники на заброшенных сто лет назад могилах. А я сырок «Орбита» аккуратно порезал на три части, прямо в бумажке порезал – так он лучше режется.

И тут врывается в дверь Титыч. Я сразу рассек, что тут чего-то неладно. Врывается Титыч, красный, как рак, глаза на лоб вылезли, на губах – пена.

— Вот! – кричит, – вот! – и тычет пальцем в мятую газету, которую наподобие хлопушки для мух в другой руке сжал.

— Что? – спрашиваю. А Мишка-немой только глаза таращит, потому как говорить не может.

— Вот! – кричит опять Титыч, – вот оно!

— Чего – оно? – спрашиваю я, – говори толком.

Титыч заметил стоящую на столе «Пшеничную» и малость охолонул.

— Слушайте, – говорит, – что напечатали.

И прочитал нам правительственное сообщение. В нем говорилось, что городу Брежневу, что в Татарии, возвращается старое название Набережные Челны. Дальше там про площади речь шла и еще про что-то, но Титыч это уже скороговоркой проскочил.

— Понятно? — говорит, а глаза у него прямо-таки светятся, как у кота ночью.

— Нет, — отвечаю, — непонятно. И Мишка-немой мне кивает: не понятно, дескать.

Титыч взвился и забежал из угла в угол по комнате.

— А знаете, вы, — кричит, — что село наше Ворошилово до войны по-другому называлось?

Я про это что-то раньше слышал, но не помню уже.

— Как оно называлось? — спрашивает Титыч.

Я подумал немного, с минуту, хотя — чего думать, если и рядом не лежало, не помню. Но все равно подумал, вижу, и Мишка думает.

— Нет, — отвечаю, подумавши, за себя и за Мишку отвечаю, — не знаем.

— А-а! — говорит Титыч. Он как будто обрадовался даже, что мы не знаем, и палец вверх поднял указательный.

— Ворошилово, оно и есть Ворошилово, — ренно заявляю я.

— Вот и нет! — опять забежал наискось Титыч. — Я ведь помню, как перед войной селу новое имя дали. В честь Клим Ворошилова, героя гражданской войны и красного полководца, друга и соратника.

— Ишь ты! А я думал, Ворошилово — от слова «ворошить», ну, сено, там..

— Какое сено! — орет Титыч. — В честь Клим это — Ворошилова!

— Вот как, — говорю. — А раньше? Раньше как называлось?

Стал Титыч рассказывать. Слушаю я его и никак в толк не возьму — за ради чего он всполошился? Голова у меня со вчерашнего еще не своя — не понимаю и все тут. И Мишка-немой, по всему видать, не понимает. А Титыч, вроде как и про бутылку забыл, до того разошелся.

— Ну, а эти Набережные Челны-то, тут при чем? — спрашиваю.

— А при том, — отвечает мне Титыч, — при том, что и нам надо вернуть селу его историческое имя. Вот!

Здорово, пень старый, однако, придумал. Мишка-немой аж подскочил и руками замахал, будто на него мошара налетела.

— Как его вернуть, имя-то? — говорю я, а Мишка мычит, что ему еще остается делать, языка0то нету. — Да, — говорю, — как вернуть?

— И очень даже просто, — отвечает Титыч, ерзая на табуретке от нетерпения. — Письмо надо в газету написать.

Ну, паразит! Ну, гад грамотный, сразу все рассек!

— Вот ты, Титыч и напиши, — предлагаю я ему, а Мишка-немой кивает да гугукает. — Напиши такое письмо, только давай сначала пропустим по маленькой.

Согласился Титыч, а то, как же! Он выпить не дурак, да и мы с Мишкой тоже.

Выпиваем, сырком закусываем — хорошо! Потом стал Титыч письмо в газету составлять, а мы с Мишкой-немой помогаем ему: я говорю, а Мишка мычит и головой кивает, у него это здорово получается, выразительно.

Составили мы письмо, а тут как раз бутылка опустела. Мы и пошли по селу подписи под письмом собирать. Титыч сказал, что чем больше подписей, тем вернее. Оно понятно – семеро одного завсегда одолеют. Ну, мы и почапали. Я даже про трактор свой забыл – до того увлекла меня титычева идея.

Принимали нас повсеместно хорошо, кое-где давали. И письмо все с большим удовольствием подписывали, удивлялись, правда, а я говорил всем, что это Титыч придумал, наш рабоче-крестьянский корреспондент. Только в трех-четырех домах дали нам от ворот поворот. У Петушкова, конечно, у куркуля несчастного, он нас подальше послал, и Мишка-немой хотел ему в морду дать, замахнулся уже, но Титыч его удержал, а Петушкова обозвал незнакомым словом, которое мне понравилось. И Мишке тоже.

— Манхурт ты, – говорит, – сволочь!

На это Петушков обиделся и пообещал заявить куда следует, и мы ушли.

Пусть заявляет, манхурт хренов!

А вот председатель сельсовета товарищ Елкин встретил нас, как в передаче «От всей души». Письмо подписал сам, и супруга его толстая подписала, и теща – восьмидесятилетняя старуха. Мы еще выпили у товарища Елкина и на том поставили точку, как сказал Титыч.

Письмо ушло в газету, а мы стали ждать. Сначала очень ждали, с нетерпением – соберемся втроем у Титыча в избушке и ждем. Не на сухую, конечно. Да. Потом притупилось как-то, а там и ждать забыли.

Но однажды в августе вдруг и объявилось. Сказали, митинг будет на площади у сельсовета. Подъезжаю я на тракторе, вижу – толпа собралась, человек сто, а может, больше. В первых рядах – Титыч, в чистой рубаше – воротник крылом торчит из-под пиджака. Рядом Мишка-немой. Я к ним протолкался. На крыльце – начальство наше местное и районные представители. Я их сразу по галстукам отличаю, наши не носят, разве председатель колхоза иной раз наденет на праздник. И Петушков, чертов сын, среди них стоит, важный, прямой, ровно кнутовище проглотил.

Тут один из начальников откашлялся, надел очки и сказал:

— Товарищи!..

А потом в бумажку заглянул, очки-то у него с носа и съехали, он их едва успел подхватить.

Надевает он очки и опять:

— Товарищи!..

В этом месте ему надо в бумажку заглянуть, заглянул – очки, понятно, упали. В народе смешок побежал. Но товарищ из района не растерялся, снова очки надел, обвел всех нас глазом строго (сквозь стекло-то глаз у него большой, навряде коровьего). Мне видно, я рядом стою и его, начальника, то есть, жалею. Неудобно мне как-то, что очки у него и вообще. А он снова:

— Товарищи!..

Тут уж откровенный смех раздался. Председатель Елкин волнуется, «тише» – кричит. Мне тоже крикнуть захотелось, но я подумал: «А ну их!..» и не крикнул. А товарищ из района махнул рукой и давай шпариг без бумажки, да

ловко так, точно воду льет – про экономику нашу, и про политику, и все такое... Про очки он забыл совсем. А в конце наше вспомнил.

— Теперь, – говорит, – вашему селу вернули его настоящее имя. Так что называться оно будет как раньше – Косорылово!

И все тут закричали. Я – тоже. И манхурт Петушков, хотя письмо и не подписывал. А Мишка не кричал, без языка-то как закричишь? Тут Титыч толкает меня, мол, обмыть надо такое дело. Разве я когда возражал? Мы и пошли к сельповскому магазину. И Мишка-немой с нами.

ТАЙНАЯ МИЛОСТЫНЯ

Женькой Казаком меня зовут. Казак – это, конечно, прозвище, а вообще-то фамилия моя – Соколов. Только в селе нашем никто ее не помнит – Казак да Казак и все тут. Мне что – я не в обиде. Один только полез в бутылку – это когда меня товарищеским судом судили.

Судья Глухов – он тоже из наших, ворошиловских, на трех работах числится и нигде палец о палец не ударит, только деньги загребать горазд, общественник хренов, – обращается официально:

— Гражданин Казак!..

— Какой, – кричу, – я тебе Казак?!

Глухов глазами захлопал, навроде филина.

— Что такое? – говорит.

— А такое, – отвечаю, – Соколов я, понятно?

Ну, и добавил там кое-какие слова для пояснения смысла. Глухов в бумажки нос сунул:

— Да, – говорит, – Соколов. Точно.

Еще бы не точно. Чего-чего, а фамилию я помню, хотя папашу своего, Соколова, знать не приходилось. Он от нас с матерью сбежал, когда я в самом младенческом возрасте находился. Веселый, говорят, был человек, тоже Казаком кликали.

Ну, а судили меня сейчас расскажу за что. Началось все с того, что приятель мой, Титыч, пить бросил. Ну, бросил и бросил – эка невидаль, я в последнее время тоже потерял интерес к этому делу – надоело просто. А Титыч идейно бросил, совсем, можно сказать, всухую. И Библию толстую начал читать.

Я к Титычу в сторожку и раньше частенько заглядывал – когда выпить, когда так посидеть. Ну и тут, как он завязал, все равно хожу. Титыч – старик значительный. Голова у него – ого, не голова, как говорят, Дом Советов. Интересно с ним – истории он знает, каких и в книжках не найдешь. Придешь к нему, бывало, в сторожку, сидишь, а он все рассказывает – как и что. Я вот даже иногда думаю: ну как Титыч помрет, что я делать-то без него буду? А возраст у него солидный – под семьдесят уже. Станешь тут в Библию заглядывать. Правда, интересно. Я раз попросил у Титыча, и он мне стал читать притчи. Умно написано, а понятно. И главное – правильно. Эх, кабы люди Библии жили! Где там на хрен!.. Хоть меня взять. Никого обижать не хочу, а обижаю. Все наоборот! Будто и не сам делаешь, а за тебя кто-то. Почему так? Подумаешь, бывает, и тошно

становится. Пусть Титыч и говорит, что, мол, нет человека праведного, который не грешил бы, так от того не легче.

Ну вот. Прихожу я к нему как-то раз – нету Титыча. Только я знаю, где его искать. Он в последнее время в одно место зачастил, недалеко тут – пойдешь по кладбищу вдоль ограды, потом налево повернешь – вглубь, там низинка такая есть, на ней молодые березки растут – белые-белые, а ж светятся среди вязов-то. Вот Титыч в низинке этой и посиживал – скамеечку приладил под березой – красота! Тут когда-то церковка стояла, Титыч ее помнил, – как лебедь, говорит, была белая. Титыч скажет! В тридцатом сломали. А священником в той церковке служил отец Николай Добротин, крестный Титыча. Я про него как-нибудь расскажу еще, в другой раз.

Ладно. Пробрался я меж оградами и вижу – Титыч возле могилы одной кругами ходит. Могила известная, старинная, памятник на ней – произведение искусства, как Титыч ни скажет. Гранит или мрамор – шут разберет! С боков ангелочки, резьба разная, короче – красиво, а на плите надпись:

Купец 1-ой гильдии

ПЕНКИН

Петр Алексеевич

16.05.1850 - 2.01.1916

Супруга его

ПЕНКИНА

Анна Васильевна

23.11.1859 - 6.10.1917

А ниже:

Младенец Наталия

дитя Солнца

26.04.1890 - 3.01.1891

И все это по-старинному, с ятями разными, когда-то, видать, золотом было, да поистерлось. Мы с Титычем у этой могилы часто сживали. Он свое думал, я – свое. Представлялся мне купец 1-ой гильдии Пенкин – в бороде, цепочка у пояса – ну, как на картинках. И супруга его, Анна Васильевна, этакая кругленькая бабочка. А больше всего думалось про младенца Наталью, прожившую на земле всего один год. Почему – дитя Солнца? Что бы это значило?.. У Титыча я не спрашивал – неудобно почему-то было, а своим умишком рассудил так: дитя Солнца – потому что младенец. А есть и другое что, так пусть – мне-то какое дело? Дитя и дитя...

Да, так вот – ходит мой Титыч кругами у могилы купца Пенкина и вижу, озабочен он чем-то.

— Чего ты, – спрашиваю, – заболел что ли?

— Нет, – отвечает и рассказывает такую историю.

Дескать, приезжали вчера на машине «Жигули» три мужика. Покрутились по кладбищу и – к этому памятнику. Титыч – за ними, думал, родственники у купца покойного объявились. А мужики ему: отдай, мол, старик, нам этот памятник. Титыч им: как, то есть, отдай? Да так, говорят, отдай и все, чего тебе. Тут Титыч спрашивает, кто они такие и откуда будут. Те плести что-то стали, мол, скульпторы. Ну, Титыча на мякине не проведешь, как же – скульпторы! У них на рожах написано, какие они скульпторы – Титыч сразу рассек.

— Понимаешь, – говорит, – тревожно мне стало, и решил я памятник им не отдавать.

— Правильно, – говорю, – сделал.

— Деньги сулили – большие...

— А ты?

— Послал их...

Посидели мы у могилы, покурили. Титыч мне про купца Пенкина немного рассказал. Как тот купец, на праздники бедноте тайную милостыню посылал. Это так называется – «тайная», чтобы, значит, не знали от кого – Богу-то ведь известно, а людям – ни к чему. Ну, да все, конечно, знали. А что интересно, ведал купец у кого в чем беда: кому холодно – дров привезут, кому голодно – муку, крупу, а то и сахар... Вот ведь как оно было занятно. Нынче бы такую тайную милостыню! Сашке-инвалиду дров пиленых подкинуть, старухе Евлагиной и хлеба не помешает. А Сачкову? У него семейство – двенадцать душ!.. Да, сегодня у нас в селе купцу было бы раздолье тайную милостыню творить! Бедных сколько хошь, а купцов ни одного нету!

Слушаю Титыча и чувствую, душа у него не на месте, тревожится старик.

— Да брось ты, – говорю, – не беспокойся. Не дал и не дал. Воровать же не будут.

— Воровать? А я на что тут приставлен! У меня вон ружье...

— Так оно ж без патронов?

— А кто про это знает? Один ты да Мишка-немой. Кстати, куда Мишка-то запропал?

— В город уехал. К родственникам. Они ему язву лечить обещались.

— Ну-ну...

Так поговорили мы и разошлись. Через пару дней под вечер прихожу я к Титычу опять. А он – пьяный вдребезги, сидит и плачет. Здорово я удивился, а Титыч сквозь слезы и говорит:

— Увезли памятник-то, Женя!

— Как, – спрашиваю, – увезли? Кто?

— А так, – отвечает Титыч и слезы рукавом утирает, – на машине. Сычи проклятые... ну те, что скульптурами сказались.

— А ты что же?

— Что – я? Разрешение ведь показали. От председателя сельсовета товарища Елкина.

— Липа! – говорю. – Липа, Титыч! Надо у Елкина спросить...

— Да спрашивал я, ходил к нему.

— И что?

— Ничего. Глаза бегают, про скульпторов твердит, мол, ценный наш памятник нужен им, как образец и так далее, эх!..

— Купили гада! – кричу. – Точно.

— Не знаю, – плачет Титыч. – А только обидно мне, Женя... Не по-божески это – с могилы-то...

Разлил Титыч водку по стаканам и сразу выпил.

— Прохиндеи они, Женя, нутром чую!

Выпил и я. Закусил огурцом.

— Зачем им памятник-то спонадобился? – спрашиваю.

— Коммерция, – говорит Титыч, – зачистят они надпись на плите, – машина такая есть, она камень запросто берет: раз! – и как новенький, пиши, что хочешь.

— Где?

— На плите.

— Это как?

— А так – был Пенкин, стал Гренкин.

Тут до меня дошло.

— И продадут памятник за мильён рублей, – грустно закончил Титыч.

Ну, думаю, совсем старик свихнулся с расстройства: кто ж его купит за такие деньги? Так у Титыча и спросил.

— Еще как купят! – отвечает. – Не знаешь ты, Женя, людей в городе. Там богатые есть люди, состоятельные – из торговых, али военных, да мало... Слыхал я про такие дела. Старые памятники, они вроде как, ничейные – родственников нет, кто искать будет... А на плите другие буквы можно вырезать – вот тебе и памятник новехонький!

Ну, дела! Поговорили мы так с Титычем, бутылку допили, он и уснул в слезах – ослаб, понятно. Положил я, бедолагу, на кровать, телогреечкой прикрыл и пошел в темноте прямо к товарищу Елкину. Вызвал товарища Елкина на крыльцо и тут же, на крыльце, без всяких объяснений, ему в морду дал. Не то чтобы мне очень жалко было, что мне тот памятник! А вот забрало как-то изнутри, навроде изжоги. Обидно стало за младенца Наталию – дитя Солнца и за то, что Титыча еще обманули – не сумел я этого стерпеть. А кто бы стерпел? Мишка-немой не стерпел бы, я знаю. Только его в тот раз не было, а то бы мы вдвоем пошли, Мишка, может быть, еще скорее меня.

Набил я товарищу Елкину морду – на сердце полегчало. Утром меня, конечно, забрали в район на 15 суток, потом судом судили товарищеским. Вот тогда мне Глухов – судья наш общественный, клещ поганый, и сказал «гражданин Казак». А какой я ему Казак? Это для друзей моих, ну, Титыча, например, или Мишки-немого могу Казаком быть. Хотя Мишка все равно говорить не может, для него, что Казак, что Соколов – одна малина. А если бы мог, пусть бы меня Казаком звал. Но для этих – накося-выкуси! – для этих я – Соколов! И даже не Соколов, а Соколов! Тут дело принципа, как Титыч выражается.

КАК МИШКА-НЕМОЙ В ГАЗЕТУ ПОПАЛ

Как-то раз – дело осенью было, перед октябрьской, что ли – зашли мы втроем – я, Титыч да Мишка-немой – в наш сельповский магазин. Ну, взяли бутылку, еще там чего-то закусить, а на сдачу нам три лотерейки сунули. Я вообще брать их не хотел, но Титыч – ладно, говорит. Ладно так ладно, я спорить не стал. Посидели мы у Титыча в сторожке, выпили, поговорили. Говорили-то, конечно, мы с Титычем, а Мишка слушал только да руками махал. А потом уж уходить собрались, да вспомнили про билеты. Титыч и говорит:

— Вот бы нам, мужики, выиграть!

Мне даже смешно стало – у кого эти лотерейки выигрывают? Лично я таких не встречал.

— Размечтался, – говорю Титычу, – машину «запорожец» захотел?

— Ну, машину не машину, а так что-нибудь, мало ли...

— Да полно! Туфта все это.

— Почему туфта? – обиделся Титыч. – Есть же люди – выигрывают.

— Ну да – в кино. «Зигзаг удачи».

— Не только в кино. Чего на свете не бывает! Может, вот ты, Женя, и выиграешь.

— Почему я-то? – удивляюсь.

— Ну, не ты. Мишка вон. Али я, к примеру. Уж на кого этот самый зигзаг укажет.

— Э-э, ладно, пошли, Мишка!

А Титыч вдруг – хлоп себя по лбу.

— Погодите! – говорит. – Мы вот что сделаем.

Взял он карандаш и написал на лотерейках наши имена: на одном – мое, на другом – Мишкино, на третьем – свое.

— Вот, – говорит, – будем знать, кто из нас в рубашке родился.

— А если никто? – спрашиваю.

Смеется старик:

— Значит, все трое нагишом!

Сложил Титыч аккуратно билеты и даже резиночкой перехватил. Потом сунул за икону, у него в углу на полке икона стоит – Николай Чудотворец, старая такая икона, на ней и не видать почти ничего.

Ну и забыли мы, конечно, про эти лотерейки. Время прошло, а где-то на Новый год Тоська – продавщица нам опять на сдачу билеты навязывает.

— Берите – говорит, – машину выиграете.

Тут мы вспомнили, что у нас за иконой три лотерейки лежат, может, выигрышные.

А ведь так оно и оказалось!

Проверил их Титыч и нам доложил: так, мол, и так – мы с Женькой невезучие, а ты Миша, мотоцикл выиграл!

Мишка-немой так и обалдел от неожиданности – глаза таращит да мычит. Конечно, тут и с языком-то замычишь, пожалуй!

Я тоже обрадовался, бью Мишку по спине, поздравляю. А Титыч улыбается, потом достал из сундука газету, и мы вместе еще раз проверили по таблице все три билета. Наши с Титычем – близко, да мимо, а Мишкин как раз в точку – и серия, и номер: мотоцикл «Иж-Планета».

Ай да Мишка! В него, значит, загогулина удачи уперлась.

И правильно, Мишка мужик достойный, хоть и немой. Порадовались мы так и стали соображать – мотоцикл Мишке брать или деньгами лучше. Я думаю, деньгами. Куда ему мотоцикл, он и на Орлике вон хорошо ездит. Это коня так зовут – Орлик. Старый такой мышастый коняга, в детдоме прописан. Есть у нас в селе детдом, там ребятишки со всего района живут – у родителей нету, а у кого и есть. Да детишки-то особенные – ну, как бы сказать... Бог их умишком обделил, как Титыч говорит. Короче, дефективные. Хотя что – мы-то все не дефективные что ли?! Вот Мишка в том детдоме и пристроился – по хозяйству там чего, а то по плотницкому опять же делу, да еще на Орлике все, что скажут.

— Куда тебе, Мишка, мотоцикл-то? – говорю. – Вон у тебя Орлик – транспорт что надо!

Мишка головой кивает, действительно, мол, так и есть.

— Телевизор лучше купи, – советует Титыч, – цветной можно. Передачи смотреть будем.

— Точно! – обрадовался я. – Это дело!

А Мишка морщится и головой трясет. Не любит он телевизора. И правильно. Я тоже не люблю его. У меня его, правда, и не было отродясь. А у Мишки был. Это когда он с женой еще жил. Потом она ушла и телевизор с собой забрала, конечно.

Вот бабы! Одна морока с ними. Это вам и Титыч скажет, недаром всю жизнь бобылем живет. А я, примеру, почему не женился? А потому, что изучил бабью натуру. Нет уж, себе дороже. Беда с этой женитьбой. Ладно, добрая баба попадет, а то вон у Мишки была – не приведи Господь. Как пила Мишку бедного пилила день и ночь. Уж лучше одному куковать. Нам как-то Титыч Библию читал, так там говорится: соглашусь лучше, мол, со львом и драконом жить, чем со злой бабой. Точно. Этот Сирах, или как там его, знал, видать, почем фунт лиха.

Ну ладно. Думали мы, думали про Мишкин выигрыш и ничего не придумали, разошлись.

На другой день воскресенье было, и мы с Титычем занялись оградкой. Тут такое дело. Справа, как войдешь на кладбище, холмик есть, старики говорили, что тут солдат похоронен – в конце войны приехал будто он к нам в село раненый, тут и умер. Вот Титыч разузнал где-то, что солдата того Алексеем звали, и решили мы памятку солдату соорудить, а то что – холмик безымянный! Смастерили мы памятник немудреный из фанеры, сверху звезду приспособили, и Титыч написал черной краской «Воин Алексей». А недавно еще и оградку где-то старенькую раздобыл, металлическую. Очистили мы ее от ржавчины и поставили на место – вот и могилка стала у воина Алексея, как людей. Осталось оградку покрасить и порядок.

Ну вот, красим мы с Титычем оградку серебрянкой, глядим – Мишка-немой бежит. Подбегает к нам и мычит, руками машет. Обычно мы сразу понимаем, что он сказать хочет, а тут разволновался, видать, никак объяснить не может.

— Ладно, – говорит Титыч, – потом докрасим. Пошли в сторожку.

Пришли мы, Мишка сразу листок бумаги схватил и карандашный огрызок. Сопит громче моего трактора и пишет: «Петушкова гада раскрыли».

Мы переглянулись с Титычем – ничего не поняли. Петушков – директор у Мишки в детдоме. А что «раскрыли» – не ясно.

Мишка видит, что мы не того и опять карябает: «У детей воровал». Тут мы с Титычем закричали:

— Как?!

Мишка дергается весь, объяснить ему сразу охота, да пока напишешь. Он писать вообще не мастер, руки у него для этого не приспособлены – уж на что у меня клешни, а и то с Мишкиными ни в какое сравнение не идут, у него пальцы как согнулись лет 20 назад, так и не разгибаются. Такими руками топор сподручнее держать, а не карандашик. Мишка этот карандашик бедный и так возьмет, и этак, а он не слушается, выскакивает из Мишкиных рук. Ну, наконец, ухватил как-то и выводит каракули: «Им каждый месяц причиталось от государства а он не давал сука».

Титыч, гляжу, аж побелел весь.

— Ну! – кричит.

А что – ну? Мишка снова карандашик в ручище спрятал, буквы рисует: «Себе брал. Ревизия засекла».

Вот клещ, а! Я всегда говорил, что этот Петушков – сволочь, на руку нечист, а так, на что бы он машину л, на зарплату что ли? На зарплату у нас только кулек конфет «Ласточка» купить можно. Тут я не удержался и покрыл злодея трехэтажным матом.

— Вот, – кричу, – паразит, крыса подвальная!

— У детей воровал! – говорит Титыч, и как-то тихо говорит, по особенному, у меня от его слов мурашки по спине побежали. – Они и без того... а он... гад!..

— Морду надо набить гаду! – кричу я.

Мишка замычал, мол, правильно. Мы с ним сейчас бы и побежали, да Титыч нас остановил.

— Не надо, – говорит.

А Мишка даже его не слушает, глазами крутит и ладонью по шее все чикает.

— Не надо, – повторяет Титыч. – Не горячись, Миша. Гнев гнездится в сердце глупых... Суд разберется. Подождем.

Ошибся Титыч. Не разобрался суд. Потому суда никакого не было, а сняли просто Петушкова с директоров – и все тут. Ну, он не пропадет, такие не пропадают, уж я-то их, гадов скользких, знаю! Лет пять назад работал я на заводишке одном. Маленький заводишка, человек на двести, филиал какой-то, –

челноки для швейных машинок делали. Так вот, были там два деятеля – Жилин да Тужилин. И на внешность-то они были похожи, как два брата – и тот и другой с пузцом, в пиджаках всегда и при галстуках. Суть в чем – как только подходят выборы, Жилина избирают в завком, а Тужилина – парторгом и – до следующих выборов, а после наоборот – Тужилина в завком, Жилина парторгом... Короче, жили, не тужили. Так и до сих пор менялись бы ролями, да демократия нагринула. Ну, хрен с ними!

А вот, что рыло мы Петушкову не начистили, это жаль. Потом уж не вышло – поостыли как-то, пока суда ждали. Да...

Мишка-немой выигрыш получил. Весь сполна. Он перед тем, как за деньгами в район ехать, зашел Титычу, и я там сидел.

— Поехал, Миша? – спрашивает Титыч.

Кивает Мишка согласно, а сам опять листок бумаги берет и карандаш. Мы с Титычем поглядели, что он пишет: «Хочу деньги детдому отдать».

Вот Мишка! Вот ведь, а?! Я бы ни за что не догадался! А он – раз и все. И не жалко ему таких деньжищ!

Титыч вскочил с места и скамейку уронил, давай Мишку обнимать. А я не обнимаю, конечно, я сказал только, дескать, правильно, по совести, ну и все такое прочее.

— Только, – говорю, – ты бы оставил хоть столык, черт безъязыкий, на это дело. Обмыть-то ведь выигрыш надо?

Мишка зубами блестит и столык мне протягивает. Вот ведь! Пришлось бежать.

Такая история. Только она на том не кончилась. Про Мишку потом в газете написали. Это что он деньги перевел детдому. Я грешным делом на Титыча подумал, хотя фамилии под заметкой не было, да и сам Титыч не признавался. Значит, не он все-таки.

Зря написали в газете-то. Я как прочитал, так и понял, что зря. И точно. Потому что Мишка-немой сразу из детдома уволился и запил по-черному, даже к нам не показывался. А потом поехал в город к родственникам, язву лечить, или еще что-то там.

Титыч смурной ходил, когда Мишка уволился, а когда он в город укатил, я Титычу даже не сказал.

ПРО ВЫБОРЫ И ВСЕ ТАКОЕ

То ли конец февраля был, то ли начало марта – погода пакостная: слякоть, ветер... Тьфу! Мне в такую погоду завсегда выпить хочется. Вот и в тот раз забрел я к Титычу в сторожку, а там Мишка-немой сидит, байки титычевы слушает. А, думаю, хорошо – втроем веселее. Подсел поближе к печке, закурил.

— Да, – продолжил Титыч. – Добрый человек был отец Николай. А кончил страшно.

— Это ты про крестного, что ли? – спрашиваю.

— Ну да, – отвечает Титыч, – про него.

— И чего же с ним сделалось?

— А вот слушай. Это уж на моей памяти было. Социализм строили вовсю. Бога нет кричали. Он, Бог-то, мешал социализм строить. А как же? У Него Своё есть, зачем Ему социализм?

— Так-то оно так, – согласился я. – А все же непонятно.

— Чего тебе непонятно? – спросил Титыч.

— Царство Божие там, – я показал пальцем на потолок. – А социализм здесь.

— Мы все устали в пол, который давно не мылся.

— Как одно другому мешает?

— Нет, – сказал Титыч. – Ты, Женя, не прав. Еще как мешает. Потому что Царство Божие не там, – он указал на засиженный мухами абажур, – а здесь, – Титыч громко ударил себя в грудь кулаком. – Это не я, это евангелист пишет. Лука.

За спиной Титыча на тумбочке возле кровати лежала толстенная Библия, и я с уважением посмотрел на неё. В голове у меня загудело, как в печурке, и я не стал спорить, хотя и не понял, о чем говорит Титыч. А он вздохнул тяжело, наверно, в запале-то больно грудь шарахнул и продолжил рассказ про крестного.

— Короче, учили, что Бога нет, а царство справедливости можно на земле без Него построить. Ну вот, помню, послала меня мать в лавку. Я – ноги в руки – побежал. Дом наш в проулке стоял, у оврага, выбегаю на улицу – сейчас она маршала Жукова имя носит, а тогда просто Большой называлась – там народу – тьма. Я व्यюном в толпе-то, любопытно, на что глазают. Проскользнул к дороге и вижу: гонят по улице лошадь, в телегу запряженную. В телеге человек пять – активисты наши. Орут, кобылу стегают. Один особенно мне запомнился – худой, высокий, глаза, что уголья, – Санькой звали Цыганом, он все кнутом-то наяривал. Сразу не углядел я, что там у них, а как углядел, так ноги и подкосились. Ладно, сзади меня старуха какая-то придержала, тянет к себе и ворчит:

— Куды, куды лезешь, балбес! Неровен час, зашибут!

Так вот, за телегой волокут крестного моего на веревке. Один конец к телеге привязан, другой – за шею отца-то Николая. Бежит он, спотыкается, руками за веревку норовит ухватиться. А все стоят молчком, смотрят. Рванул я к нему, да старуха меня цепко держит.

— Куды, куды? – шепчет.

Жалко мне отца Николая и страшно, плачу и хочется, чтобы заметил он меня. Где там! Глаза у него белые, безумные, анафему злодеям кричит.

Мишка-немой загугукал, и я понял, что он это от чувств.

Титыч замолчал.

— Ну, а дальше-то что? – спрашиваю.

— Что – дальше? Так и уволокли, а куда – неведомо... Теперь известно – замучили крестного в тюрьме.

Помолчали мы немного. Тут я вспомнил, что сегодня в клубе собрание. Говорю Мишке с Титычем, мол, скоро депутатов будем выбирать, на собрании нынче и скажут, кого выбирать-то станем.

Титыч рукой махнул.

— Ну, — говорит, — их всех!

И Мишка-немой с ним согласился. Остались они, а я за каким-то хреном на собрание поперся. И правильно сделал, как оказалось. Потому что не пойдя я тогда на собрание, стал бы паразит Глухов депутатом. А тут не вышло.

На собрании я, конечно, прикемарил малость, пока речи говорили. У меня вроде болезни такой — только сяду на каком собрании, так и засну тут тоже.

Вдруг сквозь дрему слышу — про Глухова говорят. Я уши наострил. Глухов — это экономист наш, змей скользкий. По речам выходит, что и работник-то он, каких мало, и в товарищеском суде председатель, и общественник первейший... Вот, думаю, сычи, неужто Глухова в депутаты метят? И точно. Встает Сергей Иванович Кудряшов и говорит:

— Ну что, товарищи, есть желающие высказать свое мнение, или будем голосовать за кандидатуру товарища Глухова?

Я вскочил, сам не знаю, какой бес меня толкнул.

— Все, — говорю, — вранье, а Глухов — сволочь!

Тут тихо стало, и я слышу — за стеной на улице пила: «Вжик-вжик». «Вжик-вжик». Сашка, думаю, инвалид безногий, дрова пилит. Он у пилы ручки свяжет веревкой, чтобы полотно не дрыгалось и «вжикает» себе потихоньку. Так все четыре куба, что ему райсобес дает и «перевжикает» сам-друг.

Поглядел я на Глухова — сидит он в президиуме, а челюсть аж до стола отвисла и глаза — стеклянные. То-то, думаю, змей!

В это время один из районных начальников, видно, первый очухался, встает и кричит:

— Кто порядок нарушает?!

— Ну, я, — говорю.

— Хулиган! Ты за это отвечать будешь!

— А что, — спрашиваю, — неправильно, что ли, сказал?

Начальник кулаками в стол уперся, а на скатерть красная.

И вот гляжу — пятнами мужик пошел, точно ему из скатерти краска через руки в лицо бросилась.

— Это, — кричит, — оскорбление личности!

— Какой, — спрашиваю, — личности? Глухова, что ли? Так он не личность вовсе, а — сволочь!

В зале уже смешки пошли, а начальнику, гляжу, парторг на ухо что-то шепчет.

— А мне все равно, — кипятится он, — Казак или Ермак! Такие слова аргументировать надо.

— Чего тут, — говорю, — аргументировать, и так все знают, что Глухов — сволочь!

Это и правда, все знают, но чего после моих слов началось! Кто орет, кто свистит. «Пьяный», — это про меня в президиуме. Ладно, думаю, не стану дожидаться, когда участковый выведет, сам уйду. И ушел, чего там делать-то? Лучше, думаю, Сашке-инвалиду помогу дрова распилить.

А Глухова – паразита – все равно никуда не выбрали, потому что наши мужики за него руки поднимать не стали, как их начальство не уламывало. Захотели! Нету нынче дураков! Глухова-то все, как облупленного знают, дрянь он человек. Это вам любой у нас в селе скажет.

Сам я его терпеть не могу. У меня на это личные причины имеются. И вовсе не из-за того, что он на трех работах числится и деньгу лопатой гребет, и не из-за того, что он меня два раза товарищеским судом судил и штрафы давал. Мне – это плевать! А потому я его не люблю и даже презираю всей душой, что он – сволочь и трус. Ну, расскажу вам хотя бы этот случай, когда я едва на тот свет не угодил, да Бог миловал, как Титыч говорит.

Года два тому назад было. Проштрафился я малость, ну, по этому, значит, делу, меня с трактора и сняли, послали сенокосничать. И вот в субботу, помню, привез нам Глухов зарплату, прямо на место доставил, змей. Мы еще удивлялись тогда, дескать, ишь, заботливый какой. Ну вот. А он и водки привез два литра. Выпили мы с мужиками, и Глухов с нами выпил грамм сто – больше, – говорит, – здоровье не позволяет. Ну, не позволяет и ладно, нам больше достанется. И вот говорит Глухов:

— Давай, мужики, скалымым?

Мы уши наострили, что, дескать, за калым?

— Теще моей сена подкинем? Она и заплатит и поднесет. А в колхозе, чай не убавится?

— Нам что – теще так теще. Загрузили «зилок» сеном и поехали. Мы вчетвером наверху, а Глухов в кабине. Едем, песни поем. И как уж там, не знаю, вышло, а только перевернулась машина, нас сеном-то и накрыло. Очухался я, вылез из-под сена на свет Божий, гляжу – Глухов с шофером бегает, а мужиков, что со мной наверху сидели, не видать... Да. Сашка был Воронов, Слепнев Юрка да Володька Никитин... Все трое это... В общем, накрыло их кузовом и прижало к земле, а там лужа была, так вот, захлебнулись, выходит.

Ну, это мы потом сообразили, когда сено отгребли. Глухов на «попутке» за «скорой» укатил, мы вдвоем с шофером и вытаскивали мужиков.

Вот такое дело.

Помню, на другой день лежу я дома, и приходит ко мне Глухов. Напуганный весь, тихий. Бутылку на стол ставит, давай, мол, Женя, выпьем. Выпили. Сидим. Вижу, надо чего-то Глухову, а чего, не знаю. А он и говорит:

— Ты, Женя, если спросят, ну, знаешь, так уж не выдавай, что я водку-то привез. И про тещу там... Ладно? Деньги, скажи, выдал, а водку сами достали.

«Ах ты, думаю, зараза, – вон куда! Чистеньким остаться, гад, хочешь». Завели меня эти его слова, прямо аж до печенок достали. Там, думаю, мужикам гробы примеряют, а он, сволочь, за себя опасается!

Взял я экономиста за воротник и к двери потащил. Внутри кипит, а сдерживаюсь, в морду не бью. Глухов сопротивляется, ногами сучит. В сенях ведра с лавки уронил и орет благим матом:

— Отпусти, Казак, посажу!

— Посадишь, как же! – говорю. – Давай-давай, это ты, морда протокольная, умеешь!

Ну, подволок я его к двери, он, гад, в косяки ногами уперся, да куда ему, недоделанному, – кишка тонка! Выкинул паразита на улицу и ногой сзади наподдал. Он с крыльца слетел и мордой в грязь ткнулся. Хорошо вышло.

Поднимается, с хари жижа так и течет. А сам шипит гусем свое: «Посажу!».

Я ничего ему говорить не стал, закурил только да плюнул с крыльца. А потом дверь закрыл.

Дома не сиделось, завел меня Глухов. Дай, думаю, к Мишке-немому зайду. Зашел. Дом у Мишки открытый, а самого нет. Прохожу на двор, там у него закуток вроде столярки – верстак, инструмент всякий. Вижу, три гроба готовенькие стоят, Мишка-то завсегда всем покойникам гроба готовит, и тут, видно, всю ночь старался.

Я уж Мишкины привычки знаю, у него, когда еще жена была, так он от нее в гробах скрывался – залезет в гроб – у него всегда на пожарный случай один готовый имелся – и спит там себе. Вот и тут, гляжу, лежит, Мишка в гробу, похрапывает, как младенец.

— Вставай, – говорю, – дитя солнца!

Мишка вскочил, давай обнимать меня – так, значит, обрадовался.

— Да ладно, – говорю, – видишь, живой, как есть. Пойдем лучше к Титычу, мужиков помянем. Ну и пошли.

Такая история. А про Глухова меня никто не спрашивал. Мужиков схоронили честь по чести, народу было – все село! Могилки рядышком и оградка одна на троих. Это правильно.

А с Титычем у нас такой особенный разговор потом получился. После похорон сидели мы – Титыч, я да Мишка – в сторожке, мужиков поминали. Титыч долго молчал, а потом и говорит:

— Бог тебя, Женя, от смерти миловал.

— Что же, – возражаю я, – Он других-то не миловал?

— А это уж Ему виднее.

— Конечно, виднее, – усмехаюсь, – Глухова вон тоже миловал.

А Титыча понесло.

— Жизнь, она зачем дается?

— Дается, – отвечаю, – и все тут.

— Э, нет, – забегал Титыч по сторожке. – Она, Женя, дается, чтобы человек свою задачу на земле выполнил.

— Да? – спрашиваю. – А вон у тебя, например, какая задача-то?

— Да уж есть, видно, – отвечает Титыч. – Она у всякого есть.

— И у Глухова?

— И у него. И у Мишки. И у тебя. У всех. Только не всякий понимает, какая она, а, однако, есть. Ты, значит, не выполнил еще ее, нужен, выходит, ты здесь, на земле.

— Ага. Сашка Воронов, получается, у которого трое детей сиротами остались, не нужен, а я нужен?!

Титыч задумался.

— Выходит, – говорит, – так. Богу виднее. А человек не знает своего времени.

— Как это, – говорю, – не знает?

— А так вот. Я, Женя, не могу этого словами сказать. Нету таких слов у меня, чтобы ты понял. А, однако, чувствую. Нутром чувствую...

Ничего я Титычу не ответил. Может, конечно, он и прав, не знаю. У меня от таких мыслей голова кругом идет. Ведь как это: Сашка, у которого дети, – не нужен, а я, голь перекатная, на хрен тут нужен? Для чего?

Сидели мы потом молча и курили. А Мишка-немой давно уже уснул в углу на лавке – сунул руку под голову свою стриженую и храпит себе во всю ивановскую.

СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ

Умер Титыч. Мне как обухом по голове, когда мужики у магазина сказали. Кинулся я к нему в сторожку. От магазина до кладбища недалеко, бегу, а сам думаю, что целую неделю к Титычу не заглядывал, эта мысль дурацкая всю дорогу у меня в голове и вертелась.

Прибегаю, а Титыч уж в гробу – строгий и борода кверху торчит. Стащил я кепку с головы, а что делать не знаю: в сторожке ладаном пахнет, свечки горят, старухи какие-то, а я, вроде, как лишний.

Вышел на крыльцо, а там уж вечные копальщики могил крутятся – Сережка Косой и Юрка Сиротин. Я им говорю, мол, так и так, мужики, могилу-то Титычу сам вырою, один. Не знаю почему, но никого к этому делу допускать не хотелось. Мишку-немого допустил бы, да нету Мишки – уехал, дурачок, золото добывать на Алдан. Что ему золото? Да и деньги-то большие зачем? Ни к чему они в нашем селе. Но вот уехал. Сманили залетные. Я так думаю, вернется скоро, золотоискатель хренов. Да... только Титыча-то без него схоронят... И телеграмму не дашь – не оставил Мишка адреса.

Ну, сказал я мужикам про могилу, они не очень-то и настаивали – понятно, кто им платить станет? И еще я решил: пока не схороню Титыча, капли в рот не возьму.

Выкопал я могилу. В хорошем месте выкопал. Добрая получилась могилка, уж я постарался – рубил матушку-землю за милую душу. Хорошо будет лежать Титычу – сухо и спокойно. Спи, Титыч, земля тебе пухом, родное сердце!

Потом отпевание в церкви было. Я сам с Сергием договорился, чтобы все как надо, честь по чести. Когда «Со святыми упокой» пели, гляжу, а у Титыча на лбу капельки пота выступили. Меня, как парило, – живой Титыч-то, живой!.. Рванулся я к гробу, и тут только как обожгло – никогда уж Титыча будет. Никогда! Достало меня до печенок. Я на улицу вышел и закурил.

Пошли на кладбище. Мы вчетвером гроб несли, за гробом две старухи да псаломщица – вся процессия. А кто пойдет? Родных у Титыча нет никого, а так – кому надо? У нас в селе дураков нету, все при деле.

А умер Титыч легко. Рассказывали, что вечером его видели – дорожки на кладбище подметал, а потом, видно, вернулся, спать лег, да и не проснулся уже. Такие дела.

После похорон, когда все ушли, посидел я возле холмика, под которым неугомонный Титыч успокоился, сходил в сельповский магазин, взял бутылку, хлеба да банку консервов и поплелся домой, надо, думаю, собаку покормить. Собака у меня живет, Жулька, я ее год назад подобрал у дороги – машиной, видать, зацепило. Чуть живая была псина, но мы ее с Титычем да с Мишкой-немым выводили. Мишка-то ведь раньше ветеринаром работал, дело знает.

Так вот, кормлю собаку и думаю, дай-ка, мол, посижу эту ночь у Титыча в сторожке, там помяну старика. И пошел.

Стемнело. Сижу я, размышляю про всякое. Бутылку распечатал, первую выпил за упокой души раба Божия Иоанна, по-нашему – Ивана Титыча Шорнова, настоящего мужика. Таких нету больше.

Вот посидел так-то и открыл сундучок титычев, у него барахла-то был только этот сундучок небольшой. В нем пара рубаш, ложки белые деревянные – Титыч сам выстругивал, инструмент там кое-какой. Гляжу, и подарок наш тут – зажигалка. Года три назад подарили мы с Мишкой Титычу бензиновую зажигалку на день рождения, чтобы он, значит, не искал спички – все-то он их терял, – а прикуривал бы от зажигалки. Лежит эта зажигалка новехонькая, в тряпочку обернутая... Тут меня пот прошиб, и я вторую выпил.

Ладно. На самом дне сундука попалась мне коробочка жестяная из-под чая да тетрадка в клеенчатом переплете.

Открываю коробочку, а там – медали и удостоверения к ним. Разложил я их на столе – «За отвагу», «За взятие Берлина». Воевал, оказывается, Титыч. Вот ведь, а не говорил никогда про войну. Все больше про жизнь как-то...

А в тетрадке были вырезки разные из газет и журналов. Много и титычевых заметок было: про наше село, про людей, даже про купца Пенкина, который в селе школу и больницу построил на свои деньги. Фотографии еще были старые. А страницы в тетрадке все исписаны мелким титычевым почерком. Стихов много было, я их не люблю читать, слушать по радио еще можно, а читать – нет. Но тут, гляжу, в конце тетради стихи-то – Титыча самого. Так и написано: «Мои стихи». Он, значит, всю жизнь стихи сочинял, там, в тетрадке, и годы поставлены – до войны, в войну и после...

Я все его стихи прочитал и хоть не понимаю, зачем складно говорить надо, но мне понравилось, потому что когда читал, то вроде как голос Титыча слышал и ясно его лицо представлял – вот как улыбается он в бороду свою, а от глаз – морщины лучами...

*Одинокие сосны вдоль Волги стоят,
И костры в темноте одиноко горят.*

Эх, Титыч, душа чистая!..

Ну, пока я читал да выпивал помаленьку, уж и окошко засинело. Бутылка моя, гляжу, пустая, я и заснул за столом прямо, а голову на тетрадку положил. И снится мне Титыч: будто сидит он напротив меня – в белой рубаше, светлый такой, как после бани, улыбочивый. И говорит мне:

— А ты не горюй, Женя, не горюй!.. Не бери в голову-то...

Я смотрю на него, на Титыча, друга моего старого, а в груди так и палит. И знаю, что умер он, и рад увидеть. А Титыч продолжает:

— Ты, Женя, помни только, что в душе у человек две копилочки схоронены – в одну добро по капельке собирается, а в другую – зло. И вот ведь что интерес – не бывает пустых копилочек, даже чаще всего – в обеих поровну. А человек на земле для того и живет, чтобы в той копилочке, в которой добро, больше было. Вот тебе и задача. Понял ли?

Понял я, Титыч, как не понять! Да разве я не знаю, милый!

— А у тебя-то, – спрашиваю, – чай, не поровну? Добра-то у тебя ведь больше?

Усмехнулся Титыч ласково, но не сказал ничего. Он бы, может, и сказал, да проснулся я, гляжу – утро, солнце в окошко заглядывает, в избушке никого кроме я, конечно, нет. А щека у меня мокрая. От слез что ли? Я, вроде, никогда...

По дороге зашел я еще разок к Титычу на могилку, посидел, покурил. Что ж, думаю, вот и не стало Титыча, а, значит, выполнил он на земле свою задачу. Так в чем же она была, в чем?.. Да... Не знаю. И не спросишь ни у кого. Пусто кругом. Пусто, а жить, все одно, надо. Задача такая, выходит. Ничего, разберемся. Тетрадку со стихами я потом отвез в район, в газету «Светлый путь», лично редактору передал. Он сказал, дескать, посмотрим. Ну, ладно, пусть смотрит. А две Титычевы строчки я на бумажку переписал. Тут, в районе, когда заказывал табличку Титычу на могилку, попросил, чтобы эти строчки тоже вырезали на железе.

Хорошие там слова. Только я их вам не скажу, ому что, если интересно, так приезжайте к нам в село, тут Женьку спросите – Казака, а можно и не спрашивать: идите по кладбищу вдоль ограды, потом – налево, вглубь, там низинка есть, а на ней под березами титычева могилка, крест на ней, может, и не такой видный, как на соседней, у купца Пенкина, так ведь ему крест Титыч ладил – он в этом деле мастер, а я – впервой взялся, ну да ничего получилось, однако. На кресте и табличка та самая, со словами – сами и прочтете.

НА СОПКАХ, ГДЕ ЦВЕТЕТ БАГУЛЬН

Пришло время собирать сына в армию. Забродин был этому рад: отцы воевали, мы служили, и сыновья обязаны отдать свой долг Отечеству – так он думал, совершенно искренне. Против была жена, теща и сын Женька – двухметровый фитиль, в котором набиралось как раз на полроста. Напуганные разговорами о «дедовщине», телевизионными страстями на ту же тему да еще затянувшейся войной в Чечне, сердобольные мать и бабушка прикладывали все усилия, чтобы и отца перетянуть на свою сторону, но тот был непреклонен:

— Пойдет служить и точка! – говорил он и даже кулаком по столу иногда при этом постукивал.

Жена молчала, зная, что возражать ему бесполезно, а теща с обиженным лицом принималась точить:

— Бессердечный ты человек, Николай! Своего родного и, между прочим, единственного сына совсем не жалеешь. Ты знаешь, что такое армия?..

— Я-то, как раз, знаю, что такое армия, – не ввязываясь он в пререкания. – Я два года служил. И не в хлеборезке, да будет вам известно!

Слабо представляя, что такое армейская хлеборезка, теща насторожилась, но отступать было не в ее правилах.

— Это когда было? – продолжала она. – В те годы все служили...

— Вот именно!

— Все служили, – теща сделала паузу. – А теперь одни дураки служат!

— Дураки не те, кто служит, а те, кто косит от службы! – начинал раздражаться Забродин.

Теща не сдавалась и с молчаливого одобрения дочери продолжала:

— Все, кто заботится о своих детях, делают так, чтобы они учились в университетах, а не теряли здоровье в никому не нужной армии.

— Как это – не нужной? Вы что, Вера Сергеевна, на Луне живете? Или свалились оттуда? По-вашему, Родину защищать уже не надо?

— Ой-ой-ой! – гримасничала старуха. – Родину! От кого защищать? И что защищать? Все уже за границу продали...

Терпение было на исходе.

— Ну, хватит, – резко сказал он. – Хватит! Я хочу, чтобы мой сын – единственный, как Вы изволили выразиться – вырос мужчиной, а не...

Теща притворилась, что плачет и вышла из комнаты.

— А ты сам-то, что думаешь, Евгений? – спросил он у сына. Тот пожал плечами.

— Чё мне думать-то? Не хочу я ни в какую армию.

Забродин не находил слов, чтобы объяснить им всем, что служба в армии – это вовсе не два вычеркнутых из жизни года, напротив, она очень нужна мальчишке в этом возрасте, что она сделает из него мужчину. который потом будет способен принимать решения и постоять за себя, что... Разве он не жалел сына? Разве не любил его? Женька был поздним ребенком от второго брака, и отец души в нем не чаял. Но именно любовь и подсказывала ему, что парню надо не

понарошку узнать, почем фунт лиха в этой жизни. Или в его время не было этой самой «дедовщины»? Была. Она всегда, похоже, была. Нет, не «дедовщина» пугает нынешних призывников. Тут что-то другое. Новая психология. Почему в его время стыдно было не пойти в армию, а теперь стыдно пойти. Что изменилось? Может быть, две последние войны – в Афганистане и Чечне – в корне поменяли мировоззрение детей и отцов? Те, кто воевал, не хотят, чтобы их дети взяли в руки оружие? Но ведь после Великой Отечественной такого не было? Война войне рознь, конечно, это так... А его поколение – или ему служба показалась медом. Нет. Почему же Забродин уверен, что служба в армии необходима, а женщины и недоросли вроде его сына так не считают? Почему? Мало того, уже и мужчины к ним присоединяются! Он не понимал. И его никто не понимал – ни дома, ни на работе, где родители призывников старались всеми путями избавить их от воинской повинности. Парней пихали в вузы, делались для них отсрочки, отыскивали у молодых здоровых ребят такие болезни, каких и в медицинском справочнике днем с огнем не сыщешь. Верстальщица Сурова определила у своего отпрыска сомнамбулизм, бедолаге-парню пришлось отлежать месяц в психушке и симулировать симптомы заболевания, для чего шарaxаться ночью по больничному коридору в одних трусах на глазах молоденьких медсестер, которые отпускали по этому поводу забористые шутки.

Нет, Забродин решительно ничего не понимал. Сам он в своё время имел право по закону в армию не ходить, потому как был единственным сыном у матери, которая была тогда уже пенсионного возраста, нет! Он уговорил мать написать в военкомат просьбу, чтобы его призвали, кроме того, лично отнес на квартиру капитана, занимающегося призывом, две бутылки рома «Мишель». Некоторые из его приятелей покрутили пальцем у виска, но Забродин на это не обращал внимания и своего добился – в конце ноября получил-таки повестку. Толсторожий капитан из военкомата, вручая её, пригрозил:

— Смотри, будешь просить, чтобы комиссовали, не выйдет!

— Не буду! – сказал Забродин и тряхнул по привычке головой, как непроизвольно делал всегда, когда волновался.

Своё слово он сдержал.

Так что же теперь? Может, он и впрямь, дурак? Был дураком в молодости, дураком и остался? Пусть так, это дела не меняет.

— Пальцем о палец не ударю! – твердо сказал он жене. – Даже и не говори больше об этом!

— Я и не говорю, – возразила она.

— Ты молчишь выразительнее, чем говоришь!

— Ну, это уж понимай, как хочешь, – и не удержалась, добавила: – Женька в армию не пойдет!

И ведь как в воду смотрела. Никто, кажется, не вмешивался, но призыв Забродину-младшему медкомиссия при военкомате отложила на полгода – при его росте весил он слишком мало. Все обрадовались, тем более, что по телевизору объявили: с нового года срок службы сокращается до полутора лет.

— А там, глядишь, и совсем служить не надо будет! – довольная теща пичкала внука пирогами на радостях. Тот ел, но весу, как видно, все равно не набирал.

Забродин плюнул и больше к этой теме не обращался. В ночь на бывший праздник Октябрьской революции ему приснился взводный лейтенант Никитин. Молодой и красивый, как тридцать лет назад, как будто стоят они с ним у подножия Дембельской сопки и о чем-то разговаривают, а сопку кольцом опоясывает сиреневая полоса цветущего багульника, и небо над ней синее-синее, какое бывает, пожалуй, только ранней весной на Дальнем Востоке. А по дороге с перевала идут машины – одна, другая, третья...

— Пополнение! – радостно говорит взводный и показывает рукой на машины. – Весенний призыв.

— Как же они через Дуссе-Алинь прошли? – недоумевает Забродин. – Там же все речушки в разливе – мосты посрывало...

— Так вертолетами! – отвечает взводный и смеется. – Вертолетами, рядовой Забродин!

И тут он видит, что над сопкой завис огромный МИ-6, похожий на гигантскую черную стрекозу, вертолет, громко стрекоча, сделал круг над распадом и пошел на снижение.

— Всех дембелей заберет! – говорит уверенно взводный, и Забродин радуется, потому что сто дней до дембеля давно уже кончились, и домой хочется до невозможности! И тут он вспоминает, что с весенним призывом должен приехать его сын Женька и ему становится не по себе от мысли, что он уедет домой, а Женька останется служить. Как же так, хочет спросить он у взводного, но тот уже исчез в черной дыре тоннеля под Лысой сопкой, откуда – Забродин почему-то знает – вот-вот должен вырваться поезд. Там же рельсы не проложены! – вспоминает он, и ужас стискивает его сердце. Нужно бежать, предупредить взводного... Но так трудно поднимаются ноги, как тогда, на когда искали Шарапановского...

Он проснулся и долго лежал без сна, потом встал с кровати, походил из угла в угол по кабинету, вытащил из-под бумаг в нижнем ящике стола «дембельский» альбом. Хрустнула папиросная бумага. Черно-белая фотография формата 18x24 чуть-чуть пожелтела по краям. Вот она, Дембельская сопка! Так ее назвал Женька Терентьев, когда они впервые увидели ее из кабины «КрАЗа», первым спустившегося по зимнику с перевала в распадок. Сопка была, пожалуй, самая высокая на Дуссе-Алине. «До вершины также далеко, до дембеля!» – сказал тогда Женька. Дембель пришел через год, а сопка стоит и сейчас, только вдоль её подножия, где стоял дом Якута, идут поезда. Тогда это трудно было даже представить...

Он провел рукой по глянцевой поверхности снимка. Сколько лет прошло! А помнится... Помнится, будто вчера. На фоне заснеженной сопки – капитан Александров в новом полушубке, справа – лейтенант Никитин, дальше сержант Женька Терентьев – его дружок, Толик Желябов к молоденькому кедру прислонился, Володька Кубарев, ефрейтор Костя Бойко, художник Толгат Ха-

бибуллин, Джигит, санинструктор Серега Шанов и все остальные... Вот и он сам – рядовой Колька Забродин, веселый и бесшабашный, стриженный «под ноль» сапер мино-подрывного взвода отдельного железнодорожного батальона специального назначения.

Две недели в вагоне – это вам не из Москвы в Нижний Новгород на ярмарку прокатиться. Когда Байкал миновали, Кольке казалось, что он всю свою жизнь в поезде провел, то ли он над землей плывёт, то земля под ним, а за окном пейзажи меняются – сибирская тайга заснеженная, белые неоглядные дали Забайкалья, какие-то селения, разъезды, сопки без конца и без края... Будто другой жизни и не было. Интересно, конечно, но человек все-таки рожден, чтобы ходить по твердой земле и слушать пение птиц или, еще лучше, «Abbey road», а не монотонный перестук колес. Да и самые красивые пейзажи, в конце концов, надоедают до тошноты. Хочется увидеть обычный пятиэтажный дом, тополь голый у подъезда, из которого выходит девушка в шубке и пушистой шапке из песка, идет она вдоль покрытой легкой изморозью кремлевской стены, мимо Коромысловой башни, а снег, рассыпчатый, искрится под солнцем на крутом склоне Зеленского съезда, похрустывает у неё под сапожком... Всё-всё! Смотри на город Благовещенск, там тоже дома есть с тополями у подъездов и снегу хоть отбавляй!

Ладно, что тепло, а то перед Красноярском думали всё – кранты молодой жизни! Два вагона заморозили напрочь, а за окном, между прочим, минус тридцать шесть. Всю ночь не спали, орали во все горло песни – от «Самоцветов» до Интернационала – боялись замерзнуть. А теперь что – сиди себе в одной гимнастерке, в окошко поглядывай да жди, когда «молодые» обед принесут – красота! Можно бы долго отдыхать: солдат спит, служба идет. Офицерам так вообще лафа – год за два, говорят, считается по северному раскладу. Выходит, что и день за два и час... Это ж надо! Но и им, конечно, не сладко. Прапорщик Куликов, начальник склада ГСМ, с тоски дорожной стихи стал сочинил, ходил из вагона в вагон и декламировал как Маяковский, прижимая к сердцу кулак с синей наколкой по пальцам – «ВАСЯ». Что это за Вася, оставалось только догадываться, потому что самого Куликова звали Петя – Петр Петрович. Так вот он прижимал руку к сердцу, где под кителем у него всегда хранилась плоская фляжка из нержавейки – защита от вражеской пули, как говорил прапорщик – выкатывал из орбит красные глаза и хрипел с надрывом:

*Мне не пишется, не читается,
Надоел мне покой и уют.
Мне везде до х.. причитается,
Но нигде ни х.. не дают!*

Что ему причиталось кроме продпайка, он и сам толком не знал, но душа, однако, томилаась.

У всех томилаась – у кого больше, у кого меньше. Начальник медсанчасти капитан Усцов в конце концов не выдержал нагрузки – двенадцать дней пил и все ничего, а на тринадцатый – хлоп! – из вагона на ходу стал рваться. Как раз

Иркутск проезжали. Санинструктор младший сержант Серега Шанов прибежал: «Помогите, – зовет. – У капитана белая горячка!». Пришлось связывать. А он сопротивляется, здоровый кабан. «Космонавты, – кричит, – космонавты меня зовут! Пустите, так вас перетак, они без меня взлететь не смогут!». Ничего, взлетели без него. Капитан дальше поехал, связанный. Он плакал и говорил, что по его телу бегают белые мыши. Безжалостный фельдшер медицинской службы прапорщик Аканаев ему время от времени спирту давал. Правда, понемногу, это чтобы совсем не спятил, но веревок не развязывал на всякий случай, хотя капитан ему приказывал, просил и материл так, что даже выдавший виды не русский прапорщик откровенно восхищался великим и могучим русским языком, а кое-какие выражения усиленно старался запомнить.

На станции Известковой эшелон круто повернул с Транссибирской магистрали к северу, в сторону Якутии на так называемую лесовозную дорогу и ранним утром прибыл на конечную, в Ургал – как раз перед Новым годом.

«Это еще не край земли», – подумал Колька, когда, выйдя из вагона, прочел на щите информацию, которая коротко и ясно сообщала, что до Февральска отсюда триста километров, до Комсомольска на Амуре – больше пятисот, до Москвы – около десяти тысяч! Далеконько заехали, ничего не скажешь! В душе он радовался: стройка века – это вам не костыли в шпалы под Гусь-Хрустальным забивать! Романтика! Джек Лондон и «Земля Санникова». «Ступай, Игнаша, открывай землю обетованную!». И еще... Колька никому не говорил: его дед инженер-строитель железных дорог строил в начале века Транссиб, и теперь Забродин-младший в конце века будет строить БАМ. Какие жизнь удивительные зигзаги выписывает!

Так размышлял Колька, шагая вдоль эшелона. Мороз за пятьдесят, солнца не видно – за дымкой спряталось. Он потер рукавицей нос. Холодно, однако. Ну что ж, и здесь люди живут!

Зря старался, потому что, не успел он пройти до конца состава, как и нос, и обе щеки прихватило морозом – пришлось снегом оттирать. «Здравствуйте, приехали! – подумал Колька. – А что дальше будет. Он посмотрел по сторонам: все железнодорожные пути были забиты составами, между ними горели костры, сложенные из старых автомобильных покрышек и потому жутко чадающие. Солдаты, сверхсрочники, прапорщики и младшие офицеры толпились возле них, тянули к огню, стараясь согреться, озябшие руки. Это, наверно, самая древняя привычка всех людей – протягивать ладони к огню. Пожалуй, и не привычка, а инстинкт.

В Ургал с августа прибывали подразделения железнодорожных войск, которым предстояло восточный участок магистрали, поэтому военного народа здесь было много – одни убывали на свои точки в тайгу, другие прибывали из центра – поселок превратился в своеобразный воинский штаб. Все это напоминало Кольке кадр из какого-то военного фильма. Сквозь морозную дымку едва просматривались очертания деревянного, покрашенного зеленой краской вокзала с надписью под козырьком: «Ургал».

Пока солдаты грелись у костров, командиры решали, каким образом отправлять личный состав в распадок, уже получивший название – «переезд Дус-

се-Алинь». Там, за сто километров от жилья, посреди тайги, в сохранившихся строениях бывшего лагеря для заключенных предстояло разместиться батальону, которым командовал подполковник Анатолий Гак. Старый офицер-железнодорожник, он, в отличие от молодежи, не выражал своих эмоций, хотя и у него радовалось сердце: как-никак выпал счастливый билет поучаствовать в стройке века, как наперебой называли БАМ средства массовой информации, не всё же его батальону железнодорожные пути в Подмоскowie ремонтировать. Когда в июле 1974-го ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали», комбат для себя решил, что второй путь к океану должен стать его дорогой, его «дембельским аккордом». Анатолию Ивановичу Гаку можно было бы уйти на пенсию – своё давно отслужил. Он уж и хотел. Но эта стройка! Этот тоннель на Дуссе-Алине! Никто не знал, что здесь, относительно недалеко, в Сулуке, когда-то отработывала срок его родная тётка – жена комсомольского секретаря крупного машиностроительного завода, врага народа, разумеется, и подполковнику хотелось повидать те места, о которых, дымя папиросой, она рассказывала, вернувшись после десяти лет заключения домой.

С неподдельным интересом он разыскивал всё, что можно было найти о БАМе, в частности, о его восточном участке. История несуществующей пока железнодорожной магистрали была на редкость богатой и насчитывала, как оказалось, целое столетие. Еще в 19-м веке велись изыскания и высказывались предложения о строительстве второй железной дороги севернее Байкала. Помешала Первая мировая война. После революции снова вспомнили о проекте. Было выбрано направление трассы Хабаровск – Советская Гавань. В 1932 году новую дорогу официально назвали БАМом. Стройка началась. Идея вести её руками вольнонаемных оказалась несостоятельной, потому что энтузиастов работать в таких условиях отыскалось тогда маловато. И уже через год после начала строительства основную рабочую силу составляли заключенные Бамлага.

Чего-чего, а лагерей в дальневосточной тайге хватало. Построили бы дорогу, сомнений нет, да снова помешала война. Линию Известковая – Ургал, а это ни много, ни мало 340 километров в климатических условиях близких к арктическим, эки построили за пять лет и в 1942 году сдали в эксплуатацию. Потом, правда, демонтировали – рельсы оказались нужнее в районах боевых действий. Через пять лет после окончания войны ветку повторно собрали. По ней-то и прибывали в Ургал подразделения железнодорожных войск, в их числе и батальон подполковника Гака.

Получив инструкции из штаба корпуса, который располагался в Чегдомыне, комбат вызвал к себе в вагон своих заместителей, начальника штаба и ротных командиров.

— Что ж, – сказал он собравшимся офицерам. – Добрались, кажется, без ЧП, если не считать Усцова и замороженных в перегоне Новосибирск – Красноярск вагонов. – Гак грузно поднялся и подошел к карте железных дорог, занявшей всю стену командирского вагона и постучал указательным пальцем по аппендиксу Известковая – Ургал. – Давайте привыкать к новым условиям. дислокация вам известна: распадок на перевале Дуссе-Алинь. Наш десант уже на

месте. Все, что смогут, они подготовят к нашему прибытию. Личный состав повезем машинами – дорога налажена. До весны солдаты будут жить в бараках, офицеры – в домах. Все лагерные постройки стоят в целостности и сохранности, – комбат горько усмехнулся. – Крепко эки строили, на века. Условия, как вы понимаете, далеко не курорт, район вечной мерзлоты, но жить, говорят, можно. Не мы первые, не мы последние. Там, кстати, и сейчас жители имеются, – Гак заглянул в записную книжку. – Афанасьевы, якуты. Владимир – профессиональный охотник, между прочим, следит за линией связи. – Полковник близоруко щурясь на свои записи, добавил. – С ним две жены и дети.

Кто-то из офицеров хмыкнул.

— Отставить, лейтенант Никитин! Не нашего ума дело.

— У кого две, а у кого ни одной! – тихо проговорил командир второй путовой роты капитан Кублицкий.

Никитин снова хмыкнул.

Комбат сделал паузу и продолжал:

— Проблема номер один – электричество. В лагере его нет, но ЛЭП проходит через перевал рядом. Дом якута подключен к линии. Пока не протянем провода, будем питаться своим током. Значит, первым делом запускаем подстанцию. Какое-то время – ни тепла, ни света не будет. Капитан Назаренко, это твоя задача. Сутки на её решение. Майор Рейм, солдат одеть, как положено, холод зверский. Имеется всё, что необходимо?

Поднялся краснолицый пожилой майор, заместитель командира части по тылу:

— Так точно! Не хватило трех офицерских полушубков, пока выдали солдатские, потом заменим.

— Хорошо. Продовольствие – сухой паёк. Без горячей пищи на таком морозе будет тяжело, придётся потерпеть.

— На кострах погреем, – сказал капитан Назаренко.

— Да, на кострах, – подтвердил комбат. – Наладим полевую кухню. Ты, главное, подстанцию запускай скорее.

— Есть!

— Замполиту и комсоргам вести разъяснительную работу. Материалы о комсомольской стройке получите в секретной части у прапорщика Жукова. Всё понятно?

— Да! – ответил за всех начальник штаба майор Безуглов.

— Действуйте! Да... Усцова пока оставить здесь. Все-таки под присмотром. Медициной прапорщик Аканаев пусть командует, – комбат повернулся к заместителю начальника штаба. – Капитан Александров, строевой части провести приказом по батальону. До выздоровления капитана Усцова... Черт бы его побрал, пьяницу, нашел время белых мышей ловить!

Вечером солдатам выдали полушубки, ватные брюки, валенки, двупалые рукавицы из собачьего меха и шапки северного покроя, а на следующий день у первые машины – впереди «КрАЗы», за ними «Уралы» – пошли по Чегдомын-

скому зимнику на Дуссе-Алинь. Колька Забродин со своим дружкой Женькой Терентьевым, по прозвищу Теремок, попали в число первопроходцев.

Дальневосточная тайга на первых порах на Кольку не произвела впечатления. Он думал увидеть гигантские сосны и кедры в два обхвата, но ничего этого не было и в помине. Вдоль дороги тянулись обыкновенные чахлые березки, елки, много было лиственницы, тоже какой-то больной и облезлой – ничего величественного в окружающем пейзаже не было. И только когда дорога пошла по сопкам, и машина то поднималась на высоту, то опускалась вниз, и заросшие тайгой склоны сопки закрывали небо, он почувствовал себя маленьким муравьем среди бескрайних просторов Севера. Это было неприятное, тоскливое чувство.

— Парма! – задумчиво и с теплом в голосе сказал сидящий рядом с Колькой Толик Желябов. – Так у нас на Печоре коми тайгу зовут.

— Она и там такая же? – спросил Колька.

— Кто?

— Тайга.

— Нет, совсем другая.

— Да ладно, и там, и тут медведь – хозяин! – пошутил Володька Кубарев, но в это время машину так тряхнуло, что никто не засмеялся.

До перевала они добрались часов за пять. Было светло, когда колонна остановилась перед спуском в распадок. Все вышли из машин. Не привыкшие к новой форме одежды, солдаты в ватных штанах и новых шубках, из рукавов которых лапами торчали рукавицы, переваливались на ходу и были похожи на пингвинов.

— Перекур! – крикнул старшина Джумабеков и закашлялся, глотнув морозного воздуха. Сгрудились вокруг начальника колонны капитана Александра.

— Вон там, внизу и будем нести службу, – сказал он и показал рукой вперед. Голос капитана не выражал никаких эмоций, но всем, кто слышал его, стало как-то зябко. Там, куда показывал капитан, в ложбине между сопками чернели на белом снегу строения заброшенного лагеря. Унылая картина ни у кого не вызвала энтузиазма. Даже записные балагуры Желябов с Терентьевым, и те молчали, разглядывая открывшуюся панораму.

— Родину, сынок, не выбирают! – наконец сказал Теремок.

Все молчали.

— Тут эки сидели? – подал голос Джигит. Не привычный к такому холоду, он так въёжился в полушубок, что только нос торчал, да чернела за белым воротником щелочка узбекского глаза.

— Это в тюрьме сидят, а в лагере – вкалывают, – уточнил из последних рядов прапорщик Куликов. – При Сталине здесь лагеря были чуть не в каждом распаде. Эки и начинали БАМ строить.

— Эки начинали, а мы, значит, заканчивать будем? – спросил Толик Желябов.

— Эстафета поколений, – пошутил прапорщик. – Слышал про такую?

— Шибко ты, как я погляжу, грамотный, Куликов, – перебил капитан Александров.

Опять все замолчали.

— Мы, что, будем жить в этих бараках? – чей-то неуверенный голос.

Капитан не успел ответить.

— Вот такие суровые условия службы, – мрачно произнес неугомонный Куликов и, оглянувшись на капитана, прикрыл рукавицей рот.

Александров не понял иронии.

— Ты еще и условий-то, Куликов не видел, уже унываешь. Хороший пример бойцам, нечего сказать!

— Я не унываю, товарищ капитан, – не согласился прапорщик. – Это я так, образно...

— Образно ты, говорят, стихи сочиняешь?

— Так точно, – вытянулся Куликов. – Могу прочесть.

— Нет уж, уволь!

Дымчатое солнце висело над перевалом, готовое вот-вот спрятаться за верхушки лиственниц и молодых кедров, тени от которых вытягивались по склону и обрывались за дорогой, там, где склон резко уходил в распадок, окруженный сопками. Одна из них, в отличие от остальных густо поросшая лесом, была особенно высокой – серебряная вершина её как бы венчала весь пейзаж.

Все смотрели на неё, и Женька Терентьев сказал восхищением:

— Дембельская!

Тут же объяснил, хотя никто не спрашивал:

— До вершины, как до дембеля, далеко.

И все согласились, даже капитан Александров не возражал. Так с тех пор эту сопку и звали – Дембельская. Потом и другим дали имена – Лысая, Малая, Верблюды.

— Неужели тут поезда будут ходить? – задумчиво проговорил Джигит. – Не верится.

Капитан Александров кивнул.

— Будут, рядовой. Еще как побежат! И мы должны это обеспечить. Такая боевая задача. Понял?

Джигит не ответил.

— Глаза боятся, а руки делают, – Александров помолчал. – Ветка пойдет через Ургал в Комсомольск-на-Амуре, – докурив сигарету, он щелчком отбросил окурок далеко в снег. – Вот прямо от нас сопка, в ней лет тридцать назад заключенные пробили тоннель – тогда планировалось, что здесь пойдет железная дорога. Потом началась война, лагеря расформировали.

Кто-то из солдат сзади процитировал Высоцкого:

*Все срока давно закончены,
А у лагерных ворот,
Что крест накрест заколочены,
Надпись – «Все ушли на фронт»...*

— Вот-вот, – продолжал капитан. – Так и было. На фронт.

— В штрафбат, – подсказал Куликов, но капитан, похоже, не расслышал.

— Ушли люди из распадка, ну и зарос тоннель льдом – получилось в сопке что-то вроде ледяного стержня длиной тысяча восемьсот метров. Такие дела.

— Не слабо! – сказал батальонный художник Толгат Хабибуллин.

— А вы как думали? Тут не Ташкент – и летом лёд не тает.

Окоченевший Джигит, услышав про Ташкент, оживился:

— И что? – спросил он, вытирая рукавицей нос.

— Наша задача – освободить тоннель ото ответил капитан. – Чтобы можно было рельсы проложить.

Теремок громко вздохнул и сказал:

— Дембельский аккорд.

Ударяя валенком о валенок, капитан засмеялся:

— Ты, Терентьев, все про дембель, как про баню!

— Так у кого что болит, товарищ капитан! – ответил Женька серьезным тоном.

Александров махнул рукой:

— По машинам!

Все потянулись к фыркающим белым паром автомобилям.

— Стойте! – крикнул Толгат Хабибуллин. – Погодите минутку! Товарищ капитан, вид классный, можно, я щелкну на память? – ловко, как фокусник, он извлёк из рукавицы небольшой фотоаппарат «Вилия-Авто».

Начальник колонны зачем-то поглядел по сторонам – на заходящее солнце, на длинные фиолетовые тени на снегу и согласно кивнул:

— Ну, давай, только быстро, замерзли все.

— Айн момент!

Внизу было по-особому тихо, как бывает тихо в зимнем лесу. Кольке доводилось бывать с отцом охоте – по первой пороше за зайцем, и в глухозимье за лисой и енотом, поэтому он помнил эту тишину волжских лесов – чуткую, настороженную. Но если она будила охотничий инстинкт, то здесь – тревожное чувство одиночества. Лагерь и разрушенный оставался лагерем. Даже теперь, когда его как такового уже тридцать лет не было. Будто призраки несчастных эсков витали над утопавшими в снегу приземистыми вышками, которые и спустя десятилетия выглядели зловеще, прятались за бараками, глядящими на новосёлов бельмами выбитых окон, казалось, стоит напрячь слух, как услышишь бешеный лай собак, клацанье оружейных затворов и сиплый мат вертухаев... Тихо-тихо было распадке.

Выгрузились на площадку возле полуразрушенного здания. Кто-то быстро разжег костёр, и все сгрудились у огня.

— Колючку протянуть, и будет зона! – сказал ефрейтор Костя Бойко, кивая на вышки. Теремок прикурил от тлеющей ветки и добавил:

— Эсков нету.

— А мы чем хуже?

— Да-а. Отсюда и без колючки никуда не уйдешь.

— А мне кажется, всё равно бегали.

— Может, и бегали. Но недалеко.

К костру подошел капитан Александров, протянул к огню ладони.

— Лагерь тут между прочим был женский, – сказал он.

Колька присвистнул. По другую сторону костра кто-то сказал насмешливо:

— А за сопкой – мужской!

— Ну, тогда понятно: навстречу друг другу они махом тоннель пробили, несмотря на вечную мерзлоту!

— Встреча была – можно представить!

— Сейчас бы женский батальон туда, так и мы бы время даром не теряли!

— А то!

От хохота вздрогнули ветки деревьев, и с них посыпался снег. А может, это вскинулась от испуга белка или бурундук.

— Ладно, разболтались! – оборвал капитан Александров. – Давайте к барaku пробиваться, а то ночь уже скоро.

— Нам легче, – сказал Колька Теремку, думая о тоннеле.

— Легче, чем кому?

— Чем зэкам.

— Почему?

— Они камень долбили, а мы будем лёд.

— Ещё не известно, что легче.

— В общем-то, всё равно. До дембеля по-любому хватит. Еще «молодым» останется.

Так оно, впрочем, и вышло. В феврале газеты сообщили: «В три раза быстрее предусмотренного проектом срока произведена расчистка от 1800-метрового Дуссе-Алиньского тоннеля. Более 32 тысяч кубометров льда расчистили воины-железнодорожники».

Проложив дорогу в снегу от площадки, где остановились машины, до барака, они разглядели свое будущее жильё более внимательно. Наружные стены невысокого, словно вросшего в землю строения были в своё время оштукатурены, куски штукатурки кое-где еще держались, и на них можно было увидеть блёклые остатки живописи лагерных художников. Казалось, что барак вот-вот рухнет, но это впечатление было обманчивым – построенные из лиственницы, стены были точно из железа – гвозди звенели, входя в чистое розовое тело дерева.

— Вот это стройматериал! – восхищенно воскликнул Толик Желябов. – Да об него любая пила зубья сломает!

— У зэков, видно, не ломала, – сказал Колька, но Толик не слышал, гладил ладонью бревно.

В бараке было четыре отсека, в каждом – печка в середине помещения и двухъярусные нары по обесторонам от неё. Крохотное оконце пропускало минимум света, и в бараке даже днем было сумрачно. Да еще в это оконце пришлось выводить печную трубу, потому что старый дымоход развалился.

Мино-подрывной взвод занял крайний отсек с северной стороны. Теремок назвал новое жилище «кубриком». Недалеко от входа на наружной стене чудом сохранился довольно большой кусок штукатурки с рисунком: тайга осенью – вся золотая...

На территории лагеря сохранилось несколько таких барачков, которым предстояло на время стать для батальона казармами. Все они растянулись у подножия невысокой западной сопки, поросшей редким лесом, которую вскоре бойцы называли Лысой. В ней-то и был пробит тоннель. Но в тот день тоннеля они не видели.

...Забродин перевернул страницу альбома и усмехнулся. Потом засучил рукав рубашки. Чуть ниже локтя синела татуировка: почти то же самое, что и на фотографии – подножие Лысой сопки и вход в тоннель. Только на снимке солнца не было, а на руке было – это уж Толгат придумал...

Они вышли из-за поворота на ровную, расчищенную от деревьев площадку и остановились. Строй смешался. Вокруг черной дыры тоннеля поблескивала на солнце, закрывая вход почти наполовину, гигантская наледь зеленоватого цвета. Её видно было издали. Как и Портреты.

— Ни хрена себе! – с восхищением воскликнул Теремок, а остальные молчали, пораженные величественным зрелищем.

Над входом в тоннель стояли три огромные, соединенные вместе плиты. Они заслоняли добрую половину сопки – молодые кедры казались рядом с ними лилипутами, а вход в тоннель – не больше лисьей норы. На ровном отшлифованном поле были вырезаны барельефы трех вождей – Карла Маркса, Ленина и Сталина. Гордо выпятив волевые подбородки, они устремили взгляд на юг, туда, где за лесами, за горами, за рекой Амур строил коммунизм таинственный желтый Китай. Кольке вспомнилась картинка из школьного учебника истории: пирамиды в песках и Сфинкс. А потом он представил, как долгими холодными ночами эти три идола смотрят и смотрят в пространство... А вокруг ночь, снег, тайга непроходимая, и ни души, только одинокий волк пробежит, может быть, иногда мимо, остановится и, задрав седую голову к небу, тоскливо и жутко завоет на луну... Колька даже плечами передернул.

Вид был настолько внушительным, что замполит Лучезарский, обычно находчивый, тут словно растерял все слова и не сразу опомнился, а когда все же пришел в себя, заговорил в некотором смятении:

— Вот это и есть тоннель... значит... Хм. Да... На плитах, видите, Маркс, Ленин и Сталин.

— Видим, – сказал лейтенант Никитин.

— Ну вот... Такая была, так сказать, эпоха. История нашей Родины, она, э-э-э... – постепенно голос замполита обретал прежнюю силу и уверенность. –

Да. Страницы в истории нашей Родины не всегда писались набело... Прекрасная площадь, кстати, для наглядной агитации. Художникам будет, где развернуться. Зашпакуем, почистим и напишем боевой лозунг... э-э-э... с комсомольским огоньком, так сказать.

— Например: «Дашь дембель!» – тут же предложил Теремок.

Майору такой лозунг не понравился.

— Разговорчики! – прикрикнул он сиплым голосом. – Почему разбрелись без команды? А ну, встали в строй!

Взвод построился в шеренгу по два.

Лучезарский потер рукавицей посиневший нос.

— Лозунг нужен такой, чтобы настроение поднимал. Хм. Да. Ну, скажем...э-э-э...

— «Привет строителям БАМа!» – отпартовал лейтенант Никитин.

Это майору пришлось по душе.

— А что? – довольно произнес он. – Вполне подходит. И политически верно. Понятно, боец? – Лучезарский поискал взглядом Женьку Терентьева и не нашел. – А то – «дембель»!

Ничего другого выдумывать не стали. Начальство утвердило идею и, действительно, к весне на плитах уже и самым придирчивым взглядом нельзя было разглядеть изображения вождей мировой революции, их закрыл лозунг, придуманный командиром мино-подрывного взвода и подхваченный замполитом – метровые буквы видны были едва ли не с любой точки распадка.

Подходя к тоннелю, Колька Забродин вспоминал, что говорил сегодня на разводе комбат. Невыспавшиеся в дымном бараке, неумытые и голодные стояли они строем и мерзли, а он, тяжелый, кряжистый, не спеша, прохаживался перед строем и чеканил фразы своим глуховатым голосом:

— Нас ждет много дел. Руководство войсками доверило нашему батальону решение сложнейших задач в сложнейших условиях, – подполковник помолчал. – Прежде всего, устройство лагеря, бытовые условия личного состава. Но время торопит – БАМ движется на восток. Нам предстоит прорубить в тайге просеку, по которой пойдет в свое время железная дорога. Этим будет заниматься мостовая рота. Главная наша задача – очистить ото льда тоннель. Вы уже знаете, что он был пробит в скалах много лет назад, но тогда строительство было законсервировано. Прямо скажем, это почти двухкилометровое уникальное сооружение не пощадило время. Вода и жесточайшие холода, можно сказать, разрушили его. Теперь уже ясно, что дренажные устройства пришли в негодность, засыпаны породой смотровые колодцы, и, наконец, сам тоннель закупорен льдом. Саперы под командованием лейтенанта Никитина подготовят подступы, дальше – путейцы займутся расчисткой... Через год максимум в должны быть проложены рельсы.

И вот они осматривают эти самые подступы. Снаружи наледь без опаски можно взрывать, в самом же тоннеле – взрыв исключается, тут придется ледяной панцирь убирать вручную.

Оказалось, что тоннель все же не закупорен напрочь, нет, лёд намерз, в основном, сверху и по стенам, а понизу, где когда-то были проложены рельсы для вагонеток, чтобы вывозить породу, можно было с трудом, но продвигаться вперёд, что они и сделали. Лейтенант Никитин шел первым с фонарем в руках. За ним, что называется, след в след двигались остальные. Шаги и голоса гулко звучали в подземелье. Говорили всё реже и, наконец, совсем замолчали. Где-то через полчаса показался просвет – выход из тоннеля с западной стороны.

Соорудить такое вручную в условиях вечной мерзлоты! Колька шел за Теремком и, вспоминая картинку из учебника, думал что, пожалуй, зэкам тут было куда труднее, чем строителям пирамид. В Египте хотя бы тепло, и сроки, наверно, не поджимали – тогда пятилеток, планы которых надо было выполнить почему-то за три года, ещё не придумали.

— Гляди, – сказал Теремок, когда до выхода оставалось десятка два-три шагов и стало светло, – на стенках надписи остались.

Колька кивнул. Там, где не было льда, можно было разглядеть корявые буквы, оставленные первостроителями.

— Автографы разных лет.

— Надо бы и нам расписаться, – предложил ефрейтор Бойко.

— «Да сбудутся мечты Билли Бонса», – процитировал Толик любимого Стивенсона.

— Нет, лучше – «Киса и Ося тут были», – ответил Женька, и все засмеялись.

— Всё равно не останется ничего, – сказал Джигит. – Вот уберем лёд, заштукатурят стенки, пустят поезда...

— Э-э-э, когда это еще будет! Я все-таки оставлю памятку, – не согласился Бойко.

Тяжело дышавший сзади Володька Кубарев сказал:

— Вы чё, пацаны, не знаете, что хохлы – народ шибко гордый. Славу любят – не меньше сала!

— Пошел ты!

— Да ладно, – не унимался Кубарев, – скажи, Бойко, правду говорят, что в Хохляндии такой мост есть, через который даже дембеля, если у него нет лычки, не пропускают?

— Чего мелешь, придурок?! – обиделся Бойко, но писать на стене не стал.

Они вышли из тоннеля. С этой стороны тоже была наледь, но размером значительно меньше, и сам вход в тоннель обустроен был скромнее – то ли средств, то ли времени, а может быть, и сил не хватило у строителей. Никаких гигантских плит с барельефами и других памятников эпохи отыскать не удалось. От лагеря по эту сторону сопки вообще ничего не осталось, за исключением нескольких развалин на месте барачков, да и по всему было видно, что лагерь тут был куда меньше и проще, а возможно, его расформировали раньше, и время постаралось стереть следы.

— Ну-ка, – сказал Толик Желябов, доставая из-за пазухи позаимствованный у Толгата Хабибуллина фотоаппарат, – вставайте, я вас сфотографирую.

Все рассредоточились по наледи на фоне тоннеля.
— Товарищ лейтенант, улыбочку — исторический снимок!..

...На этой странице поместилось три фотографии. На двух из них людей не было — заснеженные поросшие редкими лиственницами, полуразрушенные здание бывшего клуба. На третьем — Колька с Теремком стояли около барака и держали ёлку высотой в человеческий рост. Новый год пришел к ним тогда на шесть часов раньше, чем дома...

Бойцы во главе со старшиной Джумабековым пилили лагерные вышки на дрова, когда пришел Якут. Он был на лыжах, с карабином за спиной. На ремне болтались две соболиных тушки.

— Меня Володькой зовут, — сказал он почти без акцента. — Володька Афанасьев. Живу здесь, ох занимаюсь, однако. Соболя, песца ловлю, кабаргу стреляю.

Так они подружились с Якутом. Потом он часто приходил в часть, особенно, когда показывали кино, приводил с собой жен и детей, и Колька, глядя женщин-якутянок, думал с удивлением, как же муж их различает, настолько они похожи друг на друга. Так же и дети — пять или шесть непонятно мальчишек или девчонок бегали вокруг родителей — все на одно лицо. А Володька только смеялся:

— Как же одинаковые? Не-ет, они все разные Я очень даже вижу, какие разные!

Его найдут следующей осенью в одном из его зимовий с разорванной выстрелом в упор грудью. С двуногим зверем встретился Володька Афанасьев, опытный охотник-якут, который знал тайгу, как свои пять пальцев и не боялся даже тигра...

Мороз стоял дикий. Над крышами бараков белыми столбами поднимался дым — печи топили непрерывно. Вместо развода личный состав батальона, всех, кто уже прибыл на Дуссе-Алинь, собрали в полуразрушенном клубе. Крыши не было, но стены стояли. На одной из них сохранилась написанная по штукатурке в стиле сороковых годов Красная площадь. Солдаты стояли и разглядывали рисунок: по брусчатке главной площади страны шли девушки в белых развивающихся на ветру платьях.

— Холодно, наверно, бедняжкам! — сказал Толик Желябов, притаптывая снег валенками на резиновом ходу.

— А ты дай им свой тулупчик погреться, — посоветовал Теремок.

— Я бы такую погрел, не снимая полушубка, это да! — мечтательно проговорил Кубарев.

— Красная площадь на самом деле такая? — неожиданно спросил Джигит.

— Такая, — ответил Колька. — Только девчонки по ней другие ходят.

— А ты был в Москве? — Джигит говорил, и усы его все больше и больше покрывались инеем.

— Конечно, — сказал Колька. — Я из Горького, это рядом.

Теремок потер меховым отворотом рукавицы нос.

— От Переславля-Залесского тоже рядом, а я всего раз был и то давно, в детстве ездили с отцом... А в мавзолей не попали.

— Чё там делать, в мавзолее-то? – пожал плечами Толик.

— Ну как, все идут, знаешь, какая очередь!

— Нет, уж я бы лучше в зоопарк пошел. Говорят, в Москве зоопарк богатый.

— Правильно говорят, – сказал Колька. – Но мне больше зоопарк в Калининграде понравился.

— Это бывший Кёнигсберг?

— Ну да, классный город.

На возвышение поднялся замполит батальона майор Лучезарский. В шапке с завязанными под острым подбородком ушами он напоминал джокера из карточной колоды.

— Воины! – сказал он осипшим голосом. – Мы прибыли с вами на стройку века. Партия поставила задачу построить железную дорогу протяженностью 3145 километров из Сибири до Тихого Океана параллельно Транссибирской магистрали, только севернее. Обе магистрали свяжут три линии: Бамовская – Тында, Известковая – Ургал и Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре. Восточный участок БАМа выпала честь строить железнодорожным войскам. Можно гордиться, что мы участвуем в таком грандиозном строительстве. БАМ – комсомольская стройка. Вы тоже комсомольцы и потому...

Колька чувствовал, как замерзают ноги, а лица своего он совсем не чувствовал.

— Дуба дадим окончательно, – прошептал стоящий рядом Теремок.

— Нашли время для политинформаций, – ответил Колька. – Уж лучше бы что-нибудь делать.

Женька кивнул.

— Хоть вышки пилить. Еще пара осталась.

— Погреться хочешь? – шепнул сзади Джигит.

— Чем?

— Насвай! – Джигит насыпал Кольке на ладонь зеленовато-серой массы, похожей на резаное сено. – Кидай под язык.

Колька знал, что для узбеков насвай вроде нашего курева, но сам ни разу его ещё не пробовал.

— И что? – неуверенно спросил он.

— Не бойся. Балдеть будешь. Тепло станет.

Колька осторожно положил под язык щепотку насвая и почти сразу почувствовал во рту сильное жжение. В следующий момент оно стало невыносимым, и Колька едва сдерживался, чтобы не крикнуть. Ему казалось, что перепонку под языком перепиливают пилкой для ногтей. Слюна, сопли и слезы – всё смешалось и потекло на снег. Колька согнулся, чтобы его состояние не заметил замполит, потому что ему казалось, что тот смотрит прямо на него. Стоящие рядом Теремок, Кубарев и Желябов беззвучно хохотали.

— Убью! – промычал Колька сквозь зубы.

— Это, брат, с непривычки, – скалил зубы провокатор. – Ничего. Теплей стало?

Колька ничего не ответил, только показал Джигиту кулак.

— Инициативы комсомольцев – строителей БАМа по плечу и нам военам-железнодорожникам...

Замполит вытер рукавицей нос. Колька проплевался и опять стал замерзать.

— Ноги отваливаются уже, – сказал он достаточно громко.

— Это точно, – поддержал его Бойко.

Лейтенант Никитин посмотрел на них и сделал суровое лицо.

— Ты чё, в одних портянках? – шепотом спросил Кольку Теремок.

— В двойных, – ответил тот.

Женька придвинулся ближе и зашептал на ухо Забродину:

— Надо газетой ноги оборачивать. Мне «старики» еще в ту зиму говорили. Газетой обернешь, потом – портянки и – нормальный ход.

— Где бы её еще взять, эту газету! – стуча зубами, сказал Колька.

— Найдем!

Лучезарский совсем потерял голос и потому быстро свернул свою речь предложением включить состав подразделения Героя Советского Союза сержанта Мирошниченко.

— Будем работать за себя и за того парня. Так?

— Та-ак! – вяло отозвались замерзшие без движения воины.

— Принято, – подвел итог замполит и, вспомнив, добавил: – Вот еще что – начинается обмен комсомольских документов. Всем членам ВЛКСМ сфотографироваться. Фотограф приедет сегодня к вечеру из Ургала. Не отлынивать. Вот здесь, где мы с вами сейчас находимся, и будет фотографирование. Комсорги рот, обеспечить!

До обеда, который готовили повара хозвзвода на кострах, всех распределили – кого на заготовку, кого на строительство столовой.

В бараке, где обосновался мино-подрывной взвод, топилась печка, и было относительно тепло, хотя ночь солдаты провели на нарах, не снимая не только полушубков, но и валенок и шапок. Хлеб замерз, и потому буханки распиливали ножовкой, а консервы – одна банка на двоих – разрубали топором напополам, грели возле печки и ели прямо из разрубленных банок ложками, которые носили за голенищем сапога.

Человек быстро ко всему привыкает. Говорят, к хорошему. Нет, к плохому тоже. В первом случае – по предрасположенности. Во-втором – по необходимости. Помести его в самые что ни на есть экстремальные условия и он начнет подсознательно и сознательно отыскивать возможность выжить. Ну, ладно, русские – хоть знают, что такое морозы. Но не меньше трети батальона составляли выходцы из республик Средней Азии! Они мерзли нещадно. Кроме того, отсутствовала нормальная еда, ночлег, обычные бытовые удобства. Первые дни даже воды в лагере не было, её заменял растопленный снег.

Скоро сказалась нехватка витаминов. Лук, который везли в машине из Ургала, промерз насквозь, полезных веществ в нём было не больше, чем в махорке, и потому его свалили кучей возле барака за ненадобностью, но можно было порой увидеть, как кто-нибудь из «молодых» роется в этой куче, отыскивая более или менее съедобную луковицу. Жевали хвою, благо её здесь хватало. Светло-коричневые горошины поливитаминов глотали горстями, но они видимой пользы не приносили, вызывая аллергию в виде сыпи на коже, которая к тому же чесалась диким образом. Колька в конце концов перестал есть витамины, надеясь на крепость своих волос и зубов – авось, не выпадут до весны.

Весну ждали все. Ведь даже в Якутии она наступала. Значит, будет тепло, будет трава и листья, будет – уж не верится! – летняя форма одежды! Когда тепло – жить намного веселей. Кто это, интересно, первым заметил?

По ночам воинам снилась жареная картошка и горячий душ. Однажды на разводе комбат ни с того ни с сего вспомнил Александра Дюма.

— Читали «Графа Монте-Кристо»? – спросил он, дыша клубами пара и, не ожидая ответа, сказал: – Книга кончается словами главного героя: «Ждать и надеяться». Вот и нам с вами нужно ждать и надеяться, но не просто ждать, а работать, если не хотим перемерзнуть в этих раздолбанных бараках!.. Гм... Кстати, бараки бараками отныне не называть – для нас это казармы. Понятно?

Да, пожалуй, весны они ждали, не меньше, чем дембеля. А то и больше.

Но до весны было далеко, а морозы мягче не становились. Правда, дни стояли ясные, солнечные. Весь снег, видимо, выпал с осени, и теперь небо было постоянно безоблачным – и днем, и ночью. Всякий знает, когда светит солнце, жить охота с особой силой

По вечерам, усталые и голодные, они пели песни, рассказывали всякие небылицы про свои любовные похождения и читали надписи на нарах. Надписи были разные, и за каждой из них стояла судьба человека. Очень личные: «Моя единственная любовь», «Помню и люблю тебя одного», и коротко: «Не верь мужчинам». А вот уже другого характера: «Россия облита кровью эков и слезами матерей». Людей, которые вырезали на нарах горькие слова, скорее всего, уже не было в живых. И странно так: полвека спустя люди греются у огня той же печурки, лежат на тех же нарах и читают корявые, полные боли и страданий фразы, оставленные – не для них ли? – предшественниками. Что за ниточка связала этих с теми? Для чего?

Прошел слух, что кто-то из мостовой роты в соседнем бараке нашел под половицей дневник эка. Никто этого дневника в глаза не видел, но говорили, что там, дескать, такое написано! Вся правда про Сталина. А кто такой Сталин? Звездный усач с фотографии на лобовом стекле большегруза? Генералиссимус, победивший Гитлера? Палач, затопивший кровью Россию? Что знали они о «вожде всех времен и народов»?

Колька нашел на своих нарах удивительную надпись. Слова были четко вырезаны острым предметом: «Десять лет сижу за поджог озера».

— Это как – за поджог озера? – удивился Джигит.

— А вот так – запалил озеро и в тюрьму! – объяснил популярно Теремок.

— Так в озере – вода? – не унимался Джигит.

— А ты откуда знаешь?

— Как это откуда? Знаю, озеро – это вода. Что я, дурак, что ли, по-твоему?

— Да ты воду-то первый раз в армии увидел, а то и умывался, поди, песком!

Вокруг засмеялись. Засмеялся и Джигит:

— Тут у нас ни воды, ни песку нету.

— Зато снегу хоть отбавляй!

— Не-е-т, песок лучше!

— Ещё бы! Лучше маленький Ташкент, чем большая Колыма.

— Ташкент не маленький, – обиделся Джигит за столицу своей родины.

— Ладно, Колыма тоже не большая.

— А причем тут озеро?

— То-то, что ни при чем.

— Ну?

Теремок обреченно вздохнул.

— Эх, Джигит! – сказал он. – Ты мозгами шевелить умеешь?

— Умею.

— Так пошевели, дорогой, хоть немного!

Джигит нахмурился.

— Песок поджечь нельзя... Воду поджечь нельзя... Её посадили ни за что – вот! – воскликнул он радостно.

— Старик Архимед в таких случаях кричал: «Эврика!» – прокомментировал начитанный Толик Желябов, и все захохотали.

У каждого в жизни есть свои собственные страхи. Джигит боялся майора Лучезарского, морозов, но сильнее всего, как выяснилось, уколов. Бледнея при одном воспоминании, он рассказывал, как потерял сознание, когда ему впервые в жизни прямо в военкомате сделали укол в задницу. И теперь, когда по батальону объявили, что всему личному составу предстоит прививка от энцефалита, Джигит заранее трепетал и ежедневно предупреждал прапорщика Аканаева, что от непонятного энцефалита он ещё может выжить, а от трех прививочных уколов умрет точно.

— Никто не умирал, и ты не умрешь, – по-восточному лаконично отвечал ему земляк Аканаев, ловко закидывая под язык порцию насвая.

— Умру! – искренне волнуясь, сказал Джигит по-русски, затем перешел на родную речь, и что-то долго говорил прапорщику, который усмехался, кивал головой и повторял время от времени: «Йок, йок».

Видимо, убедить бессердечного Аканаева Джигит не сумел, и от прививки его не освободили. Когда бедняга, уже раздевшись, увидел, что уколы делаются под лопатку, он стал белым, как его нательная рубаша и, лепеча что-то невразумительное, причем, путая узбекский с русским, уцепился за Кольку.

— Колька, дуст, дуст⁵... Ноги падают...

Забродин тряхнул головой, взял его за локоть и поставил перед собой.

— Иди вперед. Не бойся. Я тебя держать буду, – сказал он.

Но Джигит уже не слышал. Вытянувшись струной и потеряв дар речи, он подошел к Аканаеву. Прапорщик повернул бесчувственного бойца к себе спиной и вонзил ему под лопатку иглу – не успел тот и охнуть.

— Всё! – ухмыльнулся Аканаев. – Не умер?

На лице Джигита появились краски жизни.

— Пока нет, – ответил он.

— И потом не умрёшь, симулянт. Через две недели повторный укол. Понял?

— Понял.

Когда они вышли на улицу, Колька сказал:

— Ну что, Джигит, жизнь продолжается?

— Ага. Но спину что-то больно.

— Прививка такая – болючая, так что – терпи. Всё лучше, чем от энцефалита загнуться.

— Чего это такое – энцефалит? – спросил Джигит, с трудом выговаривая незнакомое слово.

— Клещи тут в тайге такие есть, тыпнет – и всё.

— Что?

— Или кони кинешь, или дураком на всю жизнь останешься.

— Ага, у нас тоже есть... э-э, как это?

— Скорпион, что ли?

— Да, скорпион. Укус смертельный.

— Ну вот, примерно, и тут так.

Джигит вздохнул.

— Пожалуй, лучше укол.

— Конечно.

На Новый год им удалось выпить. Уж и не надеялись, но Толик Желябов уговорил прапорщика Куликова, и тот привез, за мзду, конечно, из Ургала пару бутылок водки. Досталось по глотку. Потом сидели вокруг горячей печки в бараке, пели негромко: «Надежда, мой компас земной», и каждый вспоминал дом, родителей, друзей, девчонок... «Молодые» заваривали для «стариков» чифир в алюминиевых кружках. На нижних нарах в углу у окна Толгат Хабибуллин орудовал иглой и тушью – делал бамовские татуировки. А за стеной трещал мороз, и висели над лагерем крупные мохнатые звезды, и далеко на сопках то ли свистел ледяной ветер, то ли были на луну седые таежные волки.

Это было короткое время, когда призывы жили мирно. Старики хотя и гоняли молодых, все же не издевались над ними. Тайга еще не давила на психику, тяжелые условия жизни сближали и пока что всем, включая и офицеров,

⁵ Дуст – друг (узб.)

ситуация казалась трудным, но приключением. Все изменилось, когда замерз связист рядовой Пчелин, и тело его повезли в сопровождении лейтенанта и прапорщика той же дорогой через Дуссе-Алинь только в обратном направлении. Приключение стали воспринимать всерьез.

А Кольке Забродину вскоре после Нового приказом по части объявили отпуск с выездом на Родину, потому что именно ему удалось обнаружить под слоем снега узенькую речку у подошвы Верблюда – восточной сопки. Проблема с водой была решена. Кольке долго тряс руку перед строем командир части, но явленный отпуск отложили, конечно, до лучших мен.

...Забродин перелистнул еще несколько страниц альбома. Вот они с Джигитом в «парадках», фуражечки на голове, будто и не холодно. А мороз стоял такой, что ремни из кожзаменителя ломались пополам как пластмассовые. Эх, Джигит-Джигит, добрая душа! Так и не съездил я к тебе в твой солнечный Узбекистан, не попробовал вкуснейшие лепёшки, которые пекла твоя мама... Он вздохнул. Их фотографировали на комсомольские билеты на развалинах бывшего клуба и они уговорили приезжего фотографа сделать сколько неофициальных снимков. У кого же он тогда «Отличника Советской Армии» взял? А-а, у Джумабекова, точно... Ага, вот и отпускные фотографии... Надежда... Грудь из выреза на платье чуть не вываливается. «Белокурая Жози»... Да-а... Как это жена не выбросила?..

К весне жизнь наладилась, вошла в обычный армейский ритм, который здесь, в тайге, был прост: работа, обустройство быта, дежурство на постах, включая и пост номер один – у знамени части. Не было строевой подготовки, не было стрельб и учений, даже марш-бросков, и тех не было. Без того с ног валялись. Автоматы Калашникова всему личному поменяли на карабины Симонova, но их не стрелять, но и в руках подержать никому так и не дали. Кто бы мог подумать, но и нарушения дисциплины были редкостью, потому что главное из них – самовольная отлучка – исключалась. Понятно: отлучайся в тайгу, сколько хочешь, гуляй по сопкам – все равно никуда не уйдешь. Прав был Колька – тут колючка ни чему. Кстати, ему предоставили, наконец, объявленный еще в январе отпуск.

Как раз начали расчищать площадку под строительство палаточного лагеря – бараки весной предстояло снести, они своё отслужили. Теперь, похоже, навсегда.

Воскресенье. Мартовское солнце хоть и не греет, во светит уже по-весеннему ярко, рассыпается в снегу на склонах сопки веселыми искрами. В «кубрике» МПВ тихо, тепло и даже уютно. Кто-то пишет письмо, кто-то читает. В дальнем углу Володька Кубарев, на гражданке музыкант ресторана «Север» в Казани, перебирает струны гитары, напевая новую песню: «Есть только миг между прошлым и будущим...» В фаминоре играть нелегко, но он любит эту тональность, несмотря на четыре бемоля.

Колька собирался домой. Как представишь, что впереди десять тысяч километров, так, вроде, и уезжать не хочется. Нет, хочется, конечно. Даже очень.

— Не умеешь, не умеешь ты пол мыть, Шарапановский, – раздался голос ефрейтора Бойко, наблюдавшего с верхних нар, как молдаванин Шарапановский, из «молодых», со свежими следами бритвы на голой, как яйцо, голове, возил шваброй по полу. – Нет, не умеешь. Это всё потому, что не жил ты в казарме, а сразу сюда попал. Да. В казарме бы тебя научили свободу любить. Там половые отношения были на высшем уровне, не то, что здесь. Как отдраил бы зубной щеточкой территорию, сразу бы оценил... Вот почему ты вялый, как вареная сосиска. Витаминов тебе не хватает, что ли? Давай-давай, пух неумытый, вымывай под нарами, не жалей спину!

Колька приподнял ноги, чтобы не мешать Шарапановскому наводить чистоту под нарами. Рука под гимнастеркой побаливала. Вчера вечером Толгат Хабибуллин, художник и мастер по татуировке, наколот ему на ней картинку: восходящее над сопками и тоннель. Такая татуировка, как шеврон на парадке, была почти у всех стариков. Даже Толик Желябов, мечтавший о «Веселом Роджере» на предплечье, отказался от пиратской символики в угоду злободневной Бамовской.

Колька поморщился и приподнял рукав кителя. Кожа под рисунком покраснела и припухла. Всю ночь она саднила, мешая спать. Толгат со знанием дела посмотрел на своё произведение и сказал:

— Порядок. Через день всё пройдет. Как раз домой прилетишь.

— У меня тоже так было, – успокоил Теремок и засмеялся. – Я, пацаны, у одного мужика на пляже наколку видел: «Ушел дорогой отца», что это, интересно за дорога?

— А ты не знаешь? – усмехнулся Колька.

— Могу представить.

— А я видел трех богатырей во всю спину, как на картине! – вспомнил Толик Желябов.

Толгат сказал снисходительно:

— Есть умельцы.

Надев парадную форму, Колька вышел на середину барака, где было светлее. Все стали придирчиво осматривать отпускника. Завидовали, конечно. Но, что подделаешь? Отпуск, он как шестерка ко всем мастям – не всякому выпадает. Парадка была в норме – всё ушито, всё подшито, ботинки начищены «молодыми» до зеркального блеска, а вот с шинелью предстояло повозиться.

— Повезло тебе, Никола, – сказал, тяжело вздыхая, Теремок. – Дома бываешь. Танцы-шманцы, девочки...

— Ладно тебе, – ответил Колька, испытывая некоторое неудобство, будто был в чем-то виноват перед другом. – Мог бы ты эту несчастную речку найти, тогда бы и поехал.

Женька усмехнулся. Обветренная на морозе кожа щеках пошла мелкими морщинками:

— Я и говорю – повезло. А мне завидно. Тоже домой охота. Пока не ездил никто – вроде, и ничего, а как стали давать отпуска – потянуло.

— Мне, думаешь, не завидно? – вмешался в разговор Джигит. – Дома тепло. Айран⁶, сув⁷... Фрукты разные...

— Анаша, опять же – подсказал Толик.

— Наша усимлиш⁸, э-э! – Джигит прищелкнул пальцами. – Ну-ка, протяни руку.

— Зачем? – спросил Желябов и вытянул правую руку. Джигит взял её.

— Большой палец подними.

— Чего еще?

— Подними, говорю.

Толик отвел в сторону и чуть приподнял большой палец.

— Ну?

Земляк Джигита, старшина Джумабеков засмеялся, а Джигит, показывая на место за большим пальцем на запястье Толика Желябова, сказал:

— Э-э-э, друг, тебе повезло!

Все сгрудились вокруг Джигита, и, ожидая, что он скажет, смотрели на руку Толика с оттянутым пальцем.

— Говори толком!

— У тебя, видишь, ямка для анаши глубокая.

Действительно, за большим пальцем Толика сухожилие образовало довольно глубокую ямку. Джигит объяснил, что так продают анашу: сколько бы в ни убралось, цена – рубль. Все начали выгибать пальцы и смотреть на свои ямки. Усмехаясь, Джигит вытянул к открытой печке тонкую смуглую руку и быстрым движением так выгнул палец, что его ямка получилась вдвое глубже других.

— Ишь ты! – восхищенно сказал Теремок, заламывая пальцы на правой и на левой руках. – У меня вот мелкая – не разгуляешься на рублевку-то.

— Я тебе бесплатно привезу, лишь бы отпуск дали, – со вздохом проговорил Джигит. – Знаешь, как пыльцу у нас собирают?

Этого никто, разумеется, не знал, кроме самого Джигита и старшины Джумабекова, но и тот заинтересовался. Джигит, польщенный вниманием, прибодрился и стал рассказывать:

— Пацаненка маленького пускают голышом бегать утром по зарослям конопли. Набегается он так, обсохнет и потом с него соскребают налипшую пыльцу. Вот. Это лучший сбор. Первый сорт считается.

— Тебе еще поехать надо, Джигит, – сказал Колька.

Джигит довольно шмыгнул носом и вздохнул:

— Уйга⁹... Хорошо бы...

— А Колька вон едет уже, – грустно заключил Толик. – Стоп! – вдруг взвился он. – Ты что же, Коль, с такими петлицами поедешь? Не позорь войска.

⁶ Айран – напиток на основе молока.

⁷ Сув – хлеб, лепешки (узб.)

⁸ Наша усимлиш – конопля (узб.)

⁹ Уйга – домой (узб.)

Сейчас пришьют бархатные. Так... Вставки под погонами есть, хорошо. Шинель надо чуток обрезать и начесать. Шапку мою возьмешь – на дембель хранил – офицерская.

— Да меня первый же патруль заметет в таком наряде! – возразил Колька.

— Не заметет! Поглядят, дембель едет во всей красе – ну и всё, у кого рука поднимется? Шарапановский! Да оставь ты свою швабру, придурок, кому сказал! Ком цу мир!

До дома Колька добрался без приключений за сутки, даже почти в то же самое время, в какое вылетел из Хабаровска, учитывая разницу, которая составляла шесть часов. Дни на дорогу давали из расчета езды на поезде, но кто же поедет по железке, если есть самолет? По воинскому требованию в кассе аэропорта спокойно давали авиабилет, а доплата составляла полтора рубля. Посадки в Чите, Новосибирске, Свердловске и всё – город Горький! Десять дней отпуска да столько же дорожных – почти месяц дома. Гуляй, душа, нараспашку! За такой срок не мудрено забыть, что ты в армии служишь. Колька почти что и забыл, а то разве собрался бы жениться?

В первый же вечер его познакомили с этой замужней женщиной, а через день она затащила его в постель. Муж у неё работал на каком-то секретном заводе и главное, что примечательно, всегда в ночную смену. Дети – мальчик и девочка – от горшка два вершка – ложились спать рано, так что им никто не мешал заниматься любовью, и они ей занимались до часа ночи, а потом Колька, усталый и счастливый, шел домой, благо, дом его находился в двух кварталах от дома Надежды.

В свои двадцать четыре года Надежда была женщиной опытной и замужем находилась уже второй раз.

Девочка у неё была от первого брака, а мальчик внебрачным ребенком. Нынешнее замужество и продолжалось уже восемь месяцев и, по её словам, изрядно надоело.

— Представляешь, – говорила она Кольке, чертя пальчиком вензеля на его груди, – нет, ты представь – он каждый день гладит брюки. Это же чокнуться можно!

Колька соглашался и не представлял, как это – каждый день гладить брюки. Да и зачем? Джинсы вообще гладить не надо. В Надежду он влюбился по уши, потому что, хотя у него и были две-три связи с женщинами до армии, такого темперамента и он еще не встречал. А после таёжного затворничества, когда, хочешь не хочешь, начинает казаться, что свете люди – исключительно мужчины в полушубках погонами, а женщин вообще нет, есть только их фотографии да журнальные вырезки, на которых это существа с другой – причем, далекой планеты, она казалась ему верхом совершенства.

— Нет, я уйду от него! – говорила Надежда мстительно, укладывая белокурую голову Кольке на плечо. – Скоро девять месяцев, как мы живем под одной крышей – это предел моего терпения.

Кольке нравилось в ней все: голубые, чуть поднятые к вискам глаза, маленькие ушки, звонкий голос и особенно его привлекала та необыкновенная

легкость, с которой она относилась к жизни. Измотанный тайгой, он отдыхал рядом с этой беззаботной женщиной, ему было до головокружения хорошо, и он старался не обременять себя никакими мыслями. Надежда напоминала ему бабочку, порхающую в солнечных лучах с цветка на цветок.

— Давай, я на тебе женюсь! — сказал он ей однажды, когда они сидели в маленьком кафе на набережной и отмечали десять дней своего знакомства. — Скоро приду из армии и женюсь, а?

Но Надежда не согласилась. Она долго смеялась своим рассыпчатым смехом, а потом сказала, что ей нужен другой муж.

— Это какой же? — нахмурился Колька.

— Ты не обижайся, хорошо? — ответила Надежда и объяснила, какой именно муж ей нужен. Солидный мужчина средних лет с достатком — примерно так.

— И тебе не скучно с ним будет?

Надежда снова расхохоталась:

— А ты-то на что?

— Да ну тебя! — махнул рукой Колька, понимая, никогда эта красивая пышногрудая блондинка ни будет говорить с ним серьезно. С кем-то другим — может быть, но не с ним.

— А ты не думай лишнего — крепче спать будешь, — сказала она и потянула губы к Колькиному уху. — Ну-ка, иди сюда, солдатик мой, я тебе что-то скажу!

Отпуск тем временем приближался к концу, и Колька начинал вспоминать, что он служит в армии и что возвращаться в тайгу — хочешь не хочешь — придется.

Весна в тот год выдалась ранняя. Еще в конце марта, когда Колька приехал домой, в городе лежал снег, а спустя две недели его и следа не осталось. Солнце пригревало всё сильнее и сильнее. На Волге и Оке прошел ледоход, Дятловы горы покрылись легкой прозрачной зеленью, девушки скользили над тротуарами в легких туфельках и кофточках с коротким рукавом, а над кремлем повисла уже голубая дымка, какая бывает только в начале весны. Колька открывал шкаф, куда с глаз подальше убрал шинель и шапку, и вздыхал — переходить на летнюю форму одежды приказа не было, а если бы и вышел такой приказ, то где, спрашивается, взять эту самую летнюю форму? Так и придется надевать в двадцатиградусную жару шинель и шапку. Шинель пушистая, шапка офицерская! Тьфу! Точно: дождь, слякоть, а мы на лыжах!

Все было хорошо, но незадолго до конца отпуска произошла все же стычка с Надеждиным мужем. Причем ситуация получилась то ли трагичная, то ли комичная — с какой стороны посмотреть. Короче, вышло как в анекдоте: муж вернулся с работы раньше, чем обычно. Когда в дверном замке заворочался ключ, Надежда птицей спорхнула с постели, сунула охапкой в руки Кольке его одежду и, шепнув на вздохе: «В детскую!», вышла из спальни. В одних трусах Колька на цыпочках прокрался через полутемную прихожую в маленькую комнату, где спали дети. Прикрыв за собой дверь, он огляделся. В углу горел ночничок в виде розовой на просвет раковины, в кроватках тихо посапывали

малыши. Колька почувствовал себя дураком: вот стоит он ночью в чужой квартире голышом, спят чужие дети, а муж чужой женщины сейчас откроет дверь и будет иметь полное право выбросить явленного дон Жуана в окно. Кстати, третий этаж! И совсем это некстати. Интересно, кто кого? Мужик-то, вроде, не малохолный. Шуму будет, однако! Но не здесь же выяснять отношения? Дети спят и соседи к тому же... Да!.. Мысли быстро и беспорядочно вертелись в Колькиной голове, и он тем временем машинально одевался. Когда вся одежда оказалась на нем, он резким движением застегнул, наконец, молнию на джинсах, в мозгах наступило прояснение. Стараясь не шуметь, чтобы не разбудить детей, Колька открыл дверь и как мог спокойно вышел в прихожую.

Двухстворчатые двери в зал были открыты, и он увидел, что Надежда в накинутах на голые плечи халатике стояла рядом с мужем и что-то, энергично жестикулируя, говорила ему. Тот застыл с опущенной головой у горящего торшера и молчал. Их тени – большая и маленькая – лежали на противоположной стене, Колька хотел войти, но женщина, услышав шорох, чуть глянула на него и махнула рукой. Остекленевший муж не подавал признаков жизни, и Колька поэтому, пожав плечами, взял с вешалки куртку, немного замешкался с задвижкой у входной двери и вышел вон. Они встретились с Надеждой на другой день в скверике недалеко от дома. Надежда была как всегда весела и беззаботна.

— Чего ты нос повесил, воин? – спросила она Кольку, усаживаясь на скамейку под голый еще липой, на черном стволе которой белела свежая надпись «Ира» и пронзенное стрелой сердце.

— За тебя беспокоюсь, – неуверенно ответил он.

— А что тут беспокоиться? Я же тебе говорила, что время истекло. Ну вот. Мы решили развестись. У нас разные взгляды на жизнь.

Колька помолчал, разминая сигарету.

— Мне осталось служить полгода, – наконец, проговорил он и тряхнул головой. – Может, это... подождешь меня? Поженимся.

Надежда засмеялась и вытянула серебряными коготками из Колькиной пачки сигарету.

— Не обижайся, Коль. Ну, какой ты муж? Тебе еще погулять надо годков десять, а потом уж и жениться, – она вдруг стала серьезной. – У меня другая ситуация. Мне нужен мужчина в годах и с толстым кошельком. Как бы пошло это ни звучало, но это так. Надо жизнь устраивать – следующий брак у меня будет последним.

— Да? – с недоверием спросил Колька.

— Да, – она почувствовала в его вопросе иронию, но не обиделась. – Поверь, мне было с тобой очень хорошо, правда... Я никогда не забуду тебя. Но, пойми, это совсем другое дело.

— Я понимаю.

— Едва ли.

Она приподнялась на цыпочки и звонко чмокнула Кольку в висок.

— И ты меня не забывай, ладно? – она улыбнулась на этот раз немного грустно. – Да ты и не забудешь, я знаю. Пока. Пока, мой оловянный солдатик.

Красное платье в горошек мелькнуло среди скучных одежд гуляющих в сквере пенсионеров и похожих друг на друга сосредоточенных мам с колясками исчезло за поворотом навсегда.

Когда Колька садился в самолет, стояла небывалая для начала апреля жара. Обливаясь потом по дороге в аэропорт, он злился на весь мир, начиная с идущих навстречу по-летнему одетых людей, в глазах которых, как ему казалось, он выглядит настоя посмешищем в своей до пушистости начесанной шинели с бархатными петлицами и офицерской шапке, и заканчивая Министерством Обороны и лично маршалом Гречко, которые поставили рядового Забродина в такую ситуацию. Но уже в Свердловске стало прохладней, в Новосибирске было откровенно холодно, хотя без снега, в Чите сверкали на солнце сугробы, а в Хабаровске вообще все было без изменений, будто он не отсутствовал здесь почти месяц.

На обратном пути Кольке, прямо скажем, не везло. Во всех промежуточных пунктах, в которых самолет делал остановку, Кольку задерживал патруль. На отпускном листе оставили автографы представители комендатур всех крупных городов: синими чернилами в Свердловске, где он не отдал честь офицеру из паруля, черными чернилами в Новосибирске за нарушение формы одежды (ох, уж эти бархатные петли!), опять синими чернилами в Чите, где Кольку отвели в отдельную комнату, дали ножницы, нитку с иглой и заставили выпарывать из погон вставки. И только в Хабаровске, видимо, из-за большого количества военных в здании аэропорта он остался незамеченный и без приключений пересел в самолет до Чегдомына. А в Чегдомыне, пускай до части было еще ой как не близко, Колька вздохнул с облегчением: всё, дома, тут хоть на «губу» – не страшно!

И ведь накаркал. Начальник штаба, повертев в руках отпускной лист, расцвеченный штампами всех возможных по пути следования комендатур, сказал бодрым голосом, плотоядно потирая руки:

— Видишь, Забродин, мы тут, пока ты отдыхал, строительством решили заняться. Дом, как говорится, с бани начинают, а воинскую часть – с гауптвахты. Как тебе такой подход?

Колька пожал плечами.

— Молчание – знак согласия, – майор ухмыльнулся. – Ты и начнешь. Есть у меня еще двое нарушителей из мостовой роты, так, не откладывая дела в долгий ящик, и приступайте. Прапорщик Коледа из комендантского взвода о вас позаботится. Да, не забывайте главное – для себя строите, значит, на совесть. Все ясно? Свободен!

В лагере за время Колькиного отсутствия ничего не изменилось. Только на другом берегу найденной им когда-то под снегом речки, действительно, развернулось строительство. На расчищенной бульдозерами площадке уже появились каркасы будущих палаток. Весь военный городок со временем должен переместиться сюда – с плацем по центру и баней возле излучины реки на пологом берегу возле обрыва.

— Даже магазин будет, – сказал, радуясь встрече, Теремок, который неприкаянно бродил по лагерю, будучи помощником дежурного по части.

— Ага, – кивнул Колька головой. – И «губа».

— Чего? – не расслышал Женька.

— «Губа», говорю. Мне за отпуск Безуглов определил. Строить. Теремок довольно усмехнулся:

— Всё как у людей!

— А то!

Взвод как раз вернулся с работы на тоннеле. Кольку встречали шумно.

— Ну, как там на «большой земле»? – спрашивал Толик Желябов, обнимая Кольку.

— Нормально.

— Это мы знаем, что нормально. Ты расскажи всякие подробности.

— Интимные, – сказал ефрейтор Бойко и па поближе к Кольке.

— Про женщин, например, – добавил молчаливый Джумабеков, готовящийся весной на дембель и потому особо интересующийся темой секса.

— Цветут, – одним словом определил Колька.

— Цвету-ут! – мечтательно повторил Бойко и стегнул ворот гимнастерки.

— Нет, ты это, брат, оставь, – не унимался Толик. – Ты расскажи про себя.

Чё там было, в отпуске-то? Небось, целую улицу осеменил?

— Куда уж мне, – Колька достал из-под нар сумку и поставил её на стол. – Это ты у нас половой гигант.

— Не я. У нас ефрейтор по этой части.

— Помолчи, Толян, дай человеку рассказать. Ну, брат, колись, блондинка или брюнетка, а может, сразу?

— Да так, – неопределенно ответил Колька и достал из сумки огромный пакет с вареньем. – Это чаю.

По бараку разнесся вздох разочарования.

— И всё? – заглядывая Кольке в глаза, с Джигит.

— У тебя руки чистые? – спросил Колька.

Джигит протянул, как школьник, руки ладонями вверх.

— Чистые.

— Да ладно, когда это у него были чистые руки, – придвинулся к столу Кубарев. – Он их раз в неделю моет и то без мыла.

— А что тебе его руки-то? – спросил Теремок. Он все поглядывал на часы, боясь опоздать в штаб сдавать дежурство.

Колька усмехнулся, снял парадный китель и, засучив рукав рубашки, запустил руку в пакет с вареньем. Все замолчали в ожидании. Рука с синей татуировкой погрузилась в варенье до локтя. С видом фокусника Колька достал из глубины бутылку «Пшеничной».

— Алле, оп! – сказал он и поставил бутылку на стол. С неё медленно стекало смородиновое варенье.

— Шарапановский! – крикнул Бойко. – Быстро сюда ведро с водой!

А Колька уже доставал вторую бутылку, потом третью и четвертую. Минно-подрывной взвод оживился. Джигит бережно омывал бутылки в прине-

сенном Шарапановским ведре, Толик резал хлеб, а ефрейтор Бойко, пыхтя, достал из тумбочки завернутый в обрывок простыни шмат сала.

— Вот це щедрость! – воскликнул Теремок, выхватывая из рук Бойко сверток. – Живе и здравствуете, червона Украина! Пируем, воины!

Но старшина Джумабеков обломил весь кайф.

— На ужин! – крикнул он. – Встали, вышли строиться! – и вполголоса добавил: – Потом.

В новую столовую ходили строем и с песней.

— В колонну по три становись! – командовал старшина. – Смир-р-на! Шагом марш! Запевай!

И они пошли парадным маршем, дружно топоча валенками по снежной дороге, и орали во все горло, оглашая окрестные сопки строевой песней на пронзительный мотив «Прощания славянки»:

*И не зря проходили мы тактику,
Если надо в суровом бою
Вспомним нашу двухлетнюю практику
И учебную роту свою...*

...На снимке хорошо был виден новый мост через речку. Под мостом у воды Теремок с удочкой в руках рыбалку имитирует. Никогда не было в их речке рыбы и быть не могло. Николай Николаевич улыбнулся, да. «Анархия – мать порядка!». Их тогда в течение дней на машине через реку в столовую возили. Разбушевался Черт не на шутку. Да и все реки в округе. Машину с почтой перевернуло. В той машине посылка Колькина домой ехала с дембельскими тряпками... Приблизительно начало мая. Деревья черные. Без листьев.

Весна наступила быстро. Будто вырвалась из плена и пошла крушить направо. С сопки не ручьи – реки побежали. И всё в маленькую речушку по имени Черт. Говорят, так её эки называли. Ну, Черт так Черт, без разницы. Очень скоро Колька с товарищами убедились, что имя речке дали вполне подходящее.

В то утро они проснулись не от привычки: «Взвод, па-а-дъём!», а от того, что выспались. Это было непривычно. Поворочавшись с боку на бок, Колька встал с кровати. В палатке было тихо, «старики» не жили под одеялами, досматривая сладкие дембельские сны. На завтрак они согласно неписанным правилам не ходили. Оставались в палатке, а так называемый «расход» – кусман хлеба потолще, четыре кирпичика сахару да шайбочку масла – приносили им из столовой «молодые». Но сейчас и эти были здесь, Колька слышал их бормотание в Ленинской комнате. «Ленинской комнатой» назывался в палатке угол справа от входа с обязательным портретом вождя и стендом наглядной агитации, которая никого не агитировала, потому что её никто не читал, не исключая составителей с оформителями. По ночам тут обычно выпивали полученные из дома посылками горячительные напитки: водку, спирт, а чаще – самогон. Что примечательно, откуда бы ни приходили посылки – из Грузии, из Белоруссии, из Литвы, не говоря уж о России – «асва віта» в них всегда была в резиновых грелках. Пусть после этого кто-нибудь скажет, что народы Советского Союза не

дружная семья! Еще какая семья – с едиными устоями, добрыми традициями, совершенным взаимопониманием и безмерной любовью к защитникам Отечества, пусть даже они в данный момент не стреляют по врагам государства, а строят Байкало-Амурскую Магистраль!

— Что случилось? – спросил Колька. – Почему «расход» «старикам» не принесли?

— Так подъёма не было, – ответил кто-то из молодых.

— Почему?

— Не знаем.

— Так выйди, посмотри! Кто тут самый шустрый? – скомандовал Колька, а сам подсел к печке и закурил.

Шарапановский исчез за дверью и моментально вернулся.

— Наводнение! – крикнул он. – Мост снесло!

Колька, как был без ремня, выскочил из палатки.

В лагере наблюдалось заметное оживление. Заспанные полуодетые солдаты толпились на берегу реки, которая за ночь вспухла, как вена на перетянутой жгутом руке. На том берегу стояли офицеры и так же изумленно глядели на вчера еще спокойную, как полусонный ребенок, узенькую, навроде ручейка, а сегодня, будто сорвавшуюся с цепи, дикую в своём неистовстве реку, которая с бешеной скоростью несла сверху куски льда, пни, коряги, целые деревья, сметая на своём пути все препятствия.

— Братцы! – услышал Колька сзади голос Теремка. – Братцы! Нас же отрезало! Ха! Теперь без начальства жить будем. Анархия – мать порядка!

Дело в том, что дома офицеров, штаб и все службы находились на левом берегу, а палаточный лагерь, где жили солдаты – на правом. От старого моста, до сего дня соединявшего начальство батальона с личным составом, остались одни обломки – с этого и другого берега. Река сломала его, как спичку и унесла в неведомые дали, куда-нибудь в Верхнюю Бурею.

— Ты, Терентьев, видать, на «губу» захотел, – крикнул из-за реки с зимы осипший замполит. – Я тебе покажу – «мать порядка», твою мать!

Теремок вышел вперед и сказал ехидно:

— Так «губа»-то на вашем берегу, товарищ майор, а мы – тут!

Правый берег огласился хохотом. Левый – молчал.

— Стихия, Терентьев, вещь коварная, но не вечная, – в голосе Лучезарского слышались зловещие ноты. – Завтра вода спадет, а «губа» останется. Друг твой Забродин построил её и обжил для тебя. Или думаешь, что навсегда свободу получил? Между прочим, умник, столовая тоже на нашем берегу. Это как?

Возразить против такого аргумента было нечего и Женька сдался.

— Беру свои слова назад, товарищ майор. Анархия – не мать порядка. Мать порядка – еда. Без еды ни туды и ни сюды. Это и бурундук знает.

— То-то, анархист хренов. Давайте лучше думать, как выходить из положения.

— Давайте, – сказал Теремок и добавил. – А то уже есть охота.

Офицеры пусть думают, им зарплату платят, – добавил, ни к кому не обращаясь, Джигит.

Они пошли к палаткам, и Колька по пути объяснял Джигиту, что офицеры на той стороне, где столовая, а значит они, наверно, уже позавтракали, и думать им не больно-то и надо. Ошибался, конечно. Офицеры очень даже думали и придумали.

До обеда две половины разделенного стихией гарнизона жили по разные стороны реки. Время от времени и те, и другие выходили на берег поглядеть на бурный поток, несущийся мимо лагеря к Дембельской сопке, где он, круто поворачивая, исчезал из глаз. Уровень воды не снижался – разбушевавшийся Черт явно не хотел успокаиваться. Теперь стало понятно, почему все строения зоны находились на одной – левой – стороне речки, значит, такие паводки были тут не редким явлением.

Часа в два пополудни с офицерского берега к реке подошел «Урал» и стал медленно спускаться в воду. Солдатская сторона с интересом наблюдала за манёврами, комментируя каждый метр на пути могучей машины.

— Перевернет!

— Нет, развернет и потащит по течению.

— Да ладно, техника есть техника – проскочит.

— Ага, проскочит – это тебе не танк.

— Правей бери, там мельче!.. Баранку, баранку крути, перед выворачивай!

— Товарищ лейтенант, – кричали сидящему за рулем командиру взвода автороты Сотникову. – Товарищ лейтенант, дверцу открой на всякий пожарный!

— А ну – тишина! – рявкнул, перекрывая голоса, рев двигателя и шум воды, вышедший из вагончика, где располагался коммутатор, майор Безуглов.

Все замолчали. Начальник штаба взобрался на камень и, ухватившись за торчащую из воды сваю унесенного моста, стал наблюдать за продвижением «Урала».

На середине реки машина снизила и без того небольшую скорость. Стремительный поток с яростью давил на корпус, пытаясь развернуть «Урал» по течению. Вода бурлила и пенилась под крыльями автомобиля. На обоих берегах люди затаили дыхание. Каменистое дно речки позволяло машине сохранять устойчивость, и благодаря этому она медленно, но уверенно продвигалась вперед. Вот зад новоявленной амфибии стало затаскивать, но передние колеса уже выгребали на отмель.

— Ура! – дружно закричал отрезанный от большой земли гарнизон, когда мокрый, дымящийся «Урал» выполз на берег. Дорога жизни была налажена.

— Сидеть мне теперь на «губе»! – тяжело вздохнул Теремок, забираясь в кузов машины. Но майор Лучезарский на радостях, видимо, забыл про свою угрозу.

Через три дня уровень воды спал. Отплясал Черт весенний танец, успокоился до поры до времени и улегся в русло, а воины мостовой роты принялись возводить новый, крепкий мост, способный принять себя любой удар, который

может нанести исподтишка скромная с виду, но коварная по натуре дальневосточная речушка.

Тем временем продолжались работы и в тоннеле, и на просеке. Саперы давно выполнили свою задачу – наледь с обеих сторон тоннеля была взорвана и её осколки, словно изумрудные брызги разлетелись далеко-далеко. Подступы к ледяным пробкам во чреве сопки были свободны. Теперь взвод лейтенанта Никитина вместе с путейцами орудовал отбойными молотками, расчищая внутренности тоннеля и выгребая оттуда кубометры льда.

А лагерь наполнялся жизнью. По мере приближения весны стали приезжать из дальнего далёка офицерские жены. Командиры прибодрились, ходили довольные, со свежевыбритыми физиономиями и в вычищенных сапогах, меньше пили и воздерживались орать на подчиненных. Солдаты с жадностью поглядывали на женщин, которых не видели четыре месяца и рассказывали про них небылицы. Особенно шла слава про жену старлея Голика, командира третьего взвода мостовой роты. Её звали Ангелина. Она работала в магазине, где продавались продукты и разные шмотки корейского производства – джинсы, свитера, перчатки и тому подобное, что с удовольствием покупали «старики», готовясь к дембелю. Ангелина была шатенкой лет тридцати пяти, невысокая, с пышными формами, склонная к полноте. Прошел слух, что она не отказывает никому, потому что Голик пропил всю свою мужскую силу, добиваясь таким образом изгнания из Вооруженных Сил, где, как он заявил однажды замполиту, не хотел оставаться по идейным соображениям. Одного взгляда на Голика, которого за глаза звали «Голик-алкоголик», было достаточно, чтобы понять: никаких соображений, тем более идейных у него быть не могло. Майор Лучезарский умел принимать быстрые решения, а так как они беседовали с Голиком наедине, то он мгновенно такое решение принял, и старлей долго ходил в солнцезащитных очках, пряча от личного состава многоцветный фингал.

Так вот, пока Голик чернел от спирта, его жена цвела, как роза в бутылке из-под шампанского, в условиях тайги было весьма опасно. Но едва ли Ангелина знала, что такое в этом смысле опасность. Проще говоря, ей было до лампочки. Кто верил рассказам про неё, кто не верил, а Джигит решил проверить. На практике.

«Молодые» начистили ему сапоги, пришили аккуратными стежками необыкновенной белизны с пропущенной за отворотом проволокой подворотничок, который демонстративно чуть не на палец выставлялся над воротником отутюженного кителя. Умывшись, Джигит расчесал усы и, посмотрев в зеркало, остался доволен своей внешностью.

— Ну всё, – сказал, глядя на него, Толик Желябов. – Не устоит.

— Лишь бы у него устоял! – подал голос с койки больной горлом Теремок. Джигит отошел от зеркала и сказал коротко и ёмко:

— Не бойсь!

Теремок свесил голову с кровати:

— Лишь бы ты не испугался, Джигит. А то знаешь, как бывает...

— У меня не бывает!

— Ну, да. Мужик ты опытный, сразу видно, армию-то, наверно, сбежал от алиментов, а?

— Каких еще алиментов?

— Таких. Как там у вас на Востоке с многоженством дело обстоит?

— Тебе-то что? Ты ведь не на Востоке живешь, а на Севере.

— Интересно.

— Интересно ему! Своих считай.

— А все-таки, сколько у вас жен по закону?

— Так же как у вас — одна жена.

— Лепи горбатого! У самого, наверно, три?

— Минимум! — поддержал Желябов. — Такому половому гиганту меньше нельзя. Видно птицу по ту. Точно — три!

— Какой-такой три? — завелся Джигит. — Зачем так говоришь? Нет у меня никакой жены!

— А неофициально?

Тут все стали подыгрывать Теремку.

— Давай-давай, Джигит, колись! — подталкивал Толик Желябов, а Костя Бойко в ожидании закусил губу. — Сколько джигитиков тебя папой называют?

— Что я, дурак, что ли, по-твоему?

— И чего ты в армию пошел? Скрывался бы в горах до старости. И жены при тебе.

— Весь гарем! Во! — расхохотался Бойко.

Джигит обиделся.

— Я дезертир по-твоему, да?

— Да ладно, расскажи, не ломайся.

Джигит уже не раз рассказывал эту историю и всякий раз по-новому. Он подергал ус и покосился на зеркало.

— Шарапановский, ты чего ухи развесил? Ну-ка, сделай дедушке чаю. Мухой!..

Колька лежал на своей койке и сквозь дрему слушал рассказ Джигита, подробности которого он знал наизусть.

— Три года меня не могли взять. Да... Я тогда пас овец высоко в горах и дома редко появлялся. А и кишлак у нас глухой, добраться очень трудно. Прихожу как-то осенью, дед мой говорит: тебе повестку в армию привезли. Я про армию знал, конечно. Дом было жалко оставлять. И кишлак, и мать с отцом. И деда. И... ну, это ладно. А, говорю, в армию — хорошо. Взял бумажку, там что-то написано — я, откуда знаю, что? Выбросил — и в горы. Через год такая же история. Бумаги не было, ну я эту повестку... и опять — в горы. На третий раз ошибся — не доглядел, что вертолет за кишлаком стоит. Зашел в дом, меня хватить: хорош, говорят, нагулялся, в армию пора. Я говорю, не понимаю. А они: и понимать нечего, умный какой нашелся. Обматерили меня, пару раз дали по шее, сунули в

вертолёт и в военкомат привезли. Э-э, жин урсин¹⁰! Оттуда в горы не убежишь. Да. Вот так.

Джигит посмотрел на часы, которые купил к дембелю и сказал, что ему пора.

— Иди-иди, сын степей... – провожал его Теремок. – Стой, а что за горы в Узбекистане? Врешь ты все, ишак бухарский! Пустыня там, знаю, есть, а горы?

— Есть! Самые лучшие горы на свете!

За смеющимся Джигитом закрылась дверь.

— Пацаны! – привстал с кровати Женька. – Горы в Узбекистане есть? Чего он трепался?

Вернулся Джигит, когда стемнело. «Старики» еще не спали. Кто-то принес корейскую водку со змеей внутри бутылки, пили розоватую гадость, что хуже любого самогона, вспоминали гражданку. Джигит прошел к своей кровати, разделся молча и лег.

— Ну и что? – спросил его закосевший Толик.

— Чего молчишь-то?

— Я тебе не обещал рассказывать, – ответил он и закрыл глаза.

— Ты это брось, Джигит! – вмешался Теремок. – Как про кишлак заливать, так он горазд, а тут – «не обещал»!

Разговорчивый обычно Джигит не отзывался, делал вид, что спит.

— Вот ведь паразит, – возмутился Женька. – Басмач-единоличник! Сам сходил, а друзья, значит, как хотите? А еще «дуст, дуст»¹¹ говорил! Так дело не пойдет, приятель. Ну-ка, сделайте ему «велосипед»!

— Шайтон¹²! Я кому-то сделаю! – буркнул Джигит угрожающе и накрыл голову одеялом. – Ухлаш кирак¹³, придурки!

Ни в этот вечер, ни потом, как ни старались, он ничего так и не сказал – получилось у него с женой Голика или нет. Партизан хренов! Ну и что? Слухи про Ангелину ползали по батальону и без его признаний.

Два снимка на странице. Один выпал из уголков. На нём – Бойко с Кубаревым на фоне Дембельской сопки. Костя тогда гимнастерку на вещевом складе ухватил военного образца. В ней стоит. Сапоги яловые. Сразу понятно – «дед». Теперь вот смешно, а тогда казалось важным. Жаль, не видно, как багульник цветет. Как его тогда следователь назвал? Ро-до-денд-рон. Точно – даурский рододендрон. Что-то комнатное, как будто. Багульник все же лучше. Забродин закрыл глаза, представляя розовое марево цветущего по склону сопки кустарника. Сейчас бы снял на цветную пленку, а то на «цифру» – такая красота! Вторая фотография – палаточный лагерь сверху. Это они с Верблюда снимали.

¹⁰ Жин урсин – черт побори! (узб.)

¹¹ Дуст – друг (узб.)

¹² Шайтон – черт (узб.)

¹³ Ухлаш кирак – спать пора! (узб.)

Да. Цепью шли, искали этого придурка Шарапановского. Ничего лучше не придумал, как в Китай сбежать. Искали дезертира, а нашли кладбище...

На День Победы комбат преподнес личному составу сюрприз. Утром на разводе прямо на усыпанный щебенкой плац собственноручно вылил четыре канистры браги. К весне в батальоне своя хлебопекарня появилась, ну и наладились пекари из хозввода бражку ставить. Все проходило шито-крыто, а тут – бац! – устроили шмон перед праздником и нашли веселый напиток. Ведь предупреждал писарь строевой части Генка Можаровский, что шерстить будут – нет, не послушались! А надо было перепрятать канистры. Укутали бы потеплее да в тайгу – ищи-свищи, пожалуй!

Батальон застыл, глядя, как мутная жидкость, пенясь, вытекает из ёмкости и впитывается под щебнем в землю. Четыре канистры! Садисты! Подполковник Гак, закончив экзекуцию, сказал короткую речь, смысл которой заключался в том, что пьянки в батальоне не допустит, и даже попытки устроить её будут пресекаться безжалостно, а виновных, когда они будут выявлены – а они, без всякого сомнения, будут выявлены – ждет суровое наказание.

Комбат поднял вверх на манер испанских патриотов кулак, напоминавший размерами голову годовалого младенца. Стало очень тихо. Где-то на Лысой сопке стучал по стволу дятел. Казалось, сейчас подполковник крикнет: «Но пасаран!», но он не крикнул, сказал, вроде, не громко, но с яростью, так, что его отчетливо слышали на правом и на левом флангах:

— Слушайте, «старики» херовы! Вы у меня пойдете на дембель после Нового года!

И всё. Больше ни слова не сказал.

Колька с Теремком слушали комбата спокойно, потому что в заначке у них была надежно припрятана бутылка рисовой водки, которую еще три дня назад купил для них в тайге у корейцев-лесорубов прапорщик Куликов.

— Налъёте! – строго сказал он, передавая Кольке бутылку.

А куда денешься, придётся налить, а то в следующий раз не привезёт. Ладно, хватит, чтобы «праздник со слезами на глазах» отметить. Но праздник всё равно обломился и обломил его всему батальону, как оказалось, все же не столько комбат, сколько «шестерка» Шарапановский.

Молдаванин Шарапановский поначалу, когда прибыл в составе осеннего призыва в часть, решил показать свой нор и отказывался выполнять достаточно вежливые на первых порах указания «стариков». Другие выполняли без лишних разговоров и потому жили не так уж плохо. Спору нет, крепко им доставалось, к ночи с ног от усталости валились. Так и «деды» валились. Кто в ту зиму не валился? Зато никаких издевательств и побоев не было. Обходились окриками, напускной «стариковской» строгостью, обещаниями типа «я тебя научу дедов уважать», иногда тычком или подзатыльником. Не более того. А Шарапановский возомнил о себе Бог весть что, решив, видимо, что командование в армии начинается с лейтенанта Никитина. Но это было с его стороны серьезным заблуждением. Армейская иерархия начиналась со «старика» Джигита, демонстративно не застёгивающего верхнюю пуговицу и опустившего

ремень почти что на детородный орган – видимые знаки отличия старослужащего, тщетно запрещаемые начальством, как вопиющее нарушение формы одежды.

Когда ты живешь в палатке бок о бок с двадцатью девятью воинами, из которых лишь четверо твоего «пушистого» призыва, а палатка эта стоит посреди глухой тайги, где на сотни километров нет другого человеческого жилья кроме таких же воинских палаток, волей-неволей приходится мириться с теми законами, которые установило большинство, причем установило не вчера, а ещё тогда, когда тебя и на свете не было. Упрямый молдаванин отказывался это понимать, что, естественно, раздражало «стариков». Джигит говорил, что у него на родине ишак и тот умнее, потому что он, если его хорошенько огреть чем-нибудь тяжелым, начинал быстро соображать в отличие от Шарапановского.

К тому же наглый салага не только отказывался выполнять неуставные и в чем-то, может быть, унижительные требования «стариков», но он не соблюдал элементарных законов общежития. Пришлет, бывало, ему мама посылку из Тирасполя, он откроет её по пути с коммутатора, часть продуктов съест, часть спрячет где-нибудь. Считал, подлец, что лучше пусть бурундуки сожрут, чем «старикам» достанется. А в палатку приносил измятую газету «Молдова социалистэ», в которую те самые продукты были аккуратно мамой завернуты. Кому такое откровенное неуважение придется по душе? Никому. Вот и гоняли его, бедолагу, больше остальных. И, кстати, не только старшие, но и свой призыв тоже, разумеется, когда «старики» позволяли. Тогда он огрызался и шипел:

— Ту инка о-са веzi ла mine, дракуле!¹⁴

Толик Желябов брал его за грудки и приподнимал над полом:

— Чего ты там тывкаешь, собака? Сам ты дракула драный!

Шарапановский молчал, тупо глядя исподлобья на обидчика.

В конце концов, Шарапановский стал, как шелковый – почти всему взводу чистил сапоги, подшивал подворотнички, приносил «расход» из столовой. Все думали, что упертый молдаванин сломался и шестерит искренне, но оказалось, не так. Затаился, как зверь, и ждал своего часа. Неизвестно, что было бы, стань он «стариком», скорее всего, издевался бы над «молодыми» по-черному, таких случаев было хоть отбавляй, но судьба непредсказуема. Джигит, например, утверждал, что Шарапановский, сколько ни прослужит, настоящим «стариком» не станет никогда.

— Ишак не будет конём, даже если на него седло надеть! – сказал он и многозначительно поднял вверх указательный палец. А Толик Желябов, не расстававшийся со Стивенсоном, однажды предрёк:

— Ты плохо кончишь, сынок!

И оказался прав. По весне Шарапановский выкинул номер: как пишут в сводках, «самовольно покинул расположение части» – решил, подлец, сбежать в Китай. Совсем рехнулся, псих недоделанный! Ну, бывали случаи, этого никто не

¹⁴ Tu inca j-sa vezi la mine, dracule! (молд.) – Я тебе это еще когда-нибудь припомню, черт побери!

скрывает, еще, когда батальон стоял под Москвой, убегали из части «молодые», чаще – до принятия присяги. Но они бежали домой! К маме, к невесте. Свободы глотнуть. А этот что выдумал! Полтыщи верст по тайге до Китая. Надо манную кашу иметь вместо мозгов, чтобы до такого додуматься. Что в Китай, они узнали позже, когда новоявленного дезертира изловили и посадили под арест, а в части началось расследование по этому делу, которое вёл приехавший из Чегдомына молодой следователь лейтенант юстиции Лыжин, любитель преферанса и за-прещенного Вертинского.

Надо признаться, «старики» малость трухнули, когда батальон был поднят по тревоге на поиски свободолюбивого молдаванина. Еще бы! А если висит где-нибудь придурок на лиственнице, вывалив синий язык до колена? Такой ведь мало что повесится, еще и записку оставит, мол, не вынес издевательств старослужащих. Садись за него безвинно в тюрьму или труби в дисбате. Кому охота! А если и живой: поймают, допросят – опять «старики» виноваты. Хорошего по-любому мало. Лебедь, щука, рак, кто из нас дурак? Считалка такая есть. Получалось, что им в дураках-то оставаться. Вышло, правда, по-другому.

Шарапановский ушел после отбоя на воскресенье. До утра никто не заметил его отсутствия, потом «молодые» шепнули «старикам». Те стали думать. А что тут придумаешь? Одно дело в городе в самоволку уйти, другое, когда посреди тайги человек пропадает. Решили пока ничего командирам не говорить, авось, вернется, салабон долбанный. Тогда получит на Палм-Ку всё, что ему причитается, как говорит Толик Же.лябов, цитирующий Стивенсона целыми страницами. Не вернулся. Утром в понедельник выбрали делегата – старшину Джумабекова – ему все равно на дембель скоро – доложить по инстанции о пропаже воина

Настроение у всех было хреновое. Джумабеков рассказал о Шарапановском лейтенанту Никитину, и всё закрутилось. Офицеры правильно подумали, далеко беглец уйти пешком по тайге не мог. Значит, если живой, то задержать его представляется возможным. В палатку минно-подрывного взвода рвался замполит. Бледный, с крючковатым примороженным носом, он был вне себя, но сдерживался.

— Если узнаю, что издевались над этим пидором, в дисбат упеку! Всех! Ваше счастье, если живым оказался! – зловещим шепотом просипел Лучезарский. – На плац, быстро!

Это еще как посмотреть, думал Колька по дороге на плац, что лучше – живым Шарапановскому оказаться или не живым. Нет уж, как бы там ни было, а пусть будет живым, сволочь такая! Сзади Толик Стивенсона цитирует. Он у него на все случаи жизни:

— Через час живые позавидуют мертвым!

Саперам, хозвзводу и связистам достался Верблюд. Растянувшись цепью, они поднимались на сопку, осматривая каждый куст и впадину. Кольке так и представлялось, что Шарапановский висит где-то на суку, почему-то без кителя и в одних кальсонах, и ветер покачивает его худое тело. Картина не из приятных, надо сказать, и Колька прогонял её, но она настойчиво возникала всё с новыми и новыми деталями.

Идти было тяжело. Это не по Подмосковным лесам гулять. Сапоги по голенище утопали во мху, валежник, заросли, подлесок, свисающие с веток и переплетающиеся друг с другом плетеобразные растения – всё делало тайгу, и впрямь, непроходимой.

— Куда тут на хрен уйдешь, – возмущался идущий рядом с Колькой Теремок. – Как во сне: хочется побежать, а ноги не двигаются.

— Это точно, – ответил уже изрядно уставший Забродин.

Верблюд, если посмотреть на него со стороны, выглядел не очень-то лесистой сопкой по сравнению с другими. А северный склон так и вообще был голым, что всегда вызывало удивление и интерес у солдат. По весне, когда в воскресенье выпадало свободное время, они бродили вдоль речки, поднимались на сопки, но до северного склона Верблюда пока еще никто не добирался.

А находки во время этих экскурсий по тайге случались разные. Например, Володька Кубарев с Толгатом Хабибуллиным нашли на Лысой сопке бетонный столбик с надписью «БАМ. 1929 г.». Значит, уже тогда изыскатели будущую дорогу называли БАМом. Ефрейтор Бойко наткнулся на человеческие кости. Правда, они могли быть и не человеческими, потому что черепа с ними не оказались. Но все решили, что человеческие, а капитан Александров приказал закопать их в землю.

Погожим апрельским днем Колька, Теремок и Джигит пошли по течению речки и где-то в километре от части, Колька, зачерпнув пригоршнями воду, остолбенел: песчинки в ладонях горели на солнце золотом. Оказалось, что весь песок в реке в радиусе пяти метров, если его шевельнуть, начинал светиться. Каково же было их удивление, когда тут же на отмели они нашли полуразвалившийся от времени, вросший в прибрежную глину промывочный лоток. Сомнений не могло: золото! Они нашли золото! Конечно, из них никогда не видел как выглядит «желтый металл» в природных условиях, но что же это могло еще?!

Набрав блестящего песка в пожертвованную Джигитом пилотку, новоявленные старатели вернулись в часть и доложили о находке начальству. Пилотка Джигита оказалась на столе у командира батальона. Содержимое её высыпали на лист белой бумаги – песок так и постреливал блёстками даже при комнатном свете! Офицеры переглянулись. Как и солдаты, они же были знакомы с золотом исключительно в женских украшениях.

— Н-да! – многозначительно произнес подполковник Гак и откинулся на спинку стула, отчего стул затрещал.

— Не всё золото, что блестит, – к месту вспомнил пословицу зам по тылу краснолицый майор Рейм.

Лучезарский пожал плечами.

— А что же это тогда, если не золото? – спросил он, пропуская сквозь пальцы струйки желтого с отливом песку и задумчиво глядя при этом на портрет Леонида Ильича Брежнева над головой комбата.

— По-вашему, – командир части привстав двинул пилотку с песком от замполита, – оно вот поверху и лежит, хоть лопатой гребь?

— Клондаик открыли! – хмыкнул Рейм.

— Кто его знает, — задумчиво сказал начальник штаба. — Может, сланцы какие-нибудь, — майор Безуглов напряг память и понял, что знания по минералогии в запасниках его памяти отсутствуют. — Или полевой шпат, — неуверенно добавил он. — Надо бы геологам, что ли, показать.

На том и порешили. Рядовому составу под страхом «губы» было запрещено посещать «неизвестное месторождение полезных ископаемых до выяснения», песок из Джигитовой пилотки перекачивал в бутылку, которую в запечатанном виде отправили с оказией в Хабаровск на экспертизу и стали ждать ответа. Конечно, троица, нашедшая желтый песочек, отсыпала себе кое-что на память и потому так же с нетерпением ожидала заключения экспертов.

Колька вспоминал об этом, пока они, увязая во мху и продираясь сквозь бурелом, покоряли Верблюдов в поисках Шарапановского. Наконец, время от времени перекрикиваясь и на все лады матеря беглеца, они добрались до голого склона сопки. Как раз под ними с этой стороны Верблюда и находилась та излучина, где покрывал дно речки загадочный песок. Склон оказался безлесным не от природы, это была вырубка, и вскоре они догадались о её назначении.

Не успели Колька с Теремком присесть на пенёк, чтобы выкурить по сигарете, как раздался голос Толика Желябова:

— Идите сюда, пацаны!

Все подумали, что Толик нашел Шарапановского или, по крайней мере, его тело, но оказалось не так, Желябов наткнулся на невысокий колышек с табличкой, на которой виднелись полустертые цифры. Рядом был еще один такой же, потом нашли третий, четвертый.

— Чего тут эки метили? — с недоумением спросил Костя Бойко.

Лейтенант Никитин молча оглядел вырубку с подросшим за прошедшие годы подлеском и сказал:

— Я думаю, воины, что это — кладбище.

— Как это — кладбище? — потрянул головой Джигит.

— Так, — командир взвода посмотрел на лица окруживших его подчиненных. — Куда они, по-вашему, покойников девали? Или тут никто не умирал?

— Действительно, — сказал Хабибуллин. — Хоронить-то где-то надо.

— Угу.

— Вот и долбили они горбы у Верблюда.

Никитин согласно покачал головой:

— Именно — долбили. Скальный грунт да мерзлота, тут не копать, а вырубать надо.

— Может, и взрывать даже.

— Может быть. А номера — это, наверно, вместо фамилий, у эков же лагерный номер полагается, имен-то как бы нет...

— Немцы в концлагерях такие номера, я читал, на запястье узников выкалывали, — произнес, гася о сапог окурки, Теремок.

Колька, сам не зная почему, вдруг стащил с головы пилотку. И все стоящие рядом сделали то же, даже лейтенант Никитин снял фуражку и стал протирать подкладку носовым платком, делая вид, будто вспотел.

— Ладно, — сказал он. — Доложим начальству, пусть разбираются. У нас с вами своя задача есть. Пошли!

Колька еще раз посмотрел на колышек с номером и подумал: сколько же тут в мерзлоте этой проклятой людей лежит. И те, может быть, что трех вождей тоннелем вырезали, тоже лежат. Он вспомнил целеустремленные подбородки на плитах. Вот, оказывается, куда глядели мертвыми глазами все эти годы под дымчатым якутским солнцем и под мохнатыми звездами каменный Сталин с подельниками — не на Китай вовсе, а на лагерное кладбище...

Оглянувшись, Колька ахнул. Они поднялись почти на самую вершину Верблюда, и отсюда открывался замечательный вид на Дембельскую сопку, на ту её, которая не видна из лагеря, скрытая подъемом на перевал. Широкой лентой опоясывал южный склон сопки, стелясь розовым дымом, цветущий багульник.

— Теремок! — окликнул Колька товарища. — Ты только глянь!

Тот посмотрел через плечо, остановился.

— Да-а, — сказал он. — Цветет багульник. Вот он, значит, как цветёт. Будем знать.

— Красиво, — смущенно проговорил Колька, словно стесняясь своих чувств и не умея выразить их словами.

Теремок, кажется, не заметил, или сделал вид, что не заметил Колькиного смущения.

— Ну так!.. — равнодушно проговорил он. — Дикая природа. А вообще на нашу сирень похоже... Идём!

Скоро довелось Кольке разглядеть цветущий багульник вблизи. Их всех по одному вызывали на допрос к лейтенанту Лыжину. Он сидел за столом в строевой части, невысокий, лысенький, с добрыми взглядом голубых, словно вылинявших глаз из-под крупных очков, что-то писал, напевая тихим приятным голосом:

*Ваши пальцы пахнут ладаном,
А в ресницах спит печаль.
Ничего уже не надо нам,
Никого уже не жаль.*

Никогда Колька не слышал такой песни! Слова и мелодия, старательно выпеваемая следователем, пронзили его насквозь.

На столе перед лейтенантом стояла трехлитровая банка с ветками цветущего багульника.

— Забродин? — прервав пение, переспросил следователь. — Проходи, садись. Поговорим о Шарапановском.

Дизертира Шарапановского привели в часть геологи к концу третьего дня после его бегства, поэтому о ЧП уже было доложено по инстанции. Делу дали ход, и теперь лейтенант Лыжин опрашивал всех и «стариков», и «молодых» с

целью выяснения причин побега. Самого Шарапановского держали под арестом и вскоре увезли в Чегдомын.

Ничего нового Колька Лыжину не рассказал. Сказал только, что тот был тупой и упрямый. На лице следователя ничего не отражалось. Он по-прежнему говорил тихо и смотрел из-под очков кроткими коровьими глазами.

— Издевались над ним?

— Кто? – прикинулся, что не понимает Колька.

— Старослужащие.

— Что вы! У нас во взводе такого нет.

— Разберемся, – только и сказал Лыжин.

Колька еще раз посмотрел на покрытые розовато-сиреневыми цветами ветки.

— Красиво? – спросил, прищурясь, следователь.

— У нас тут на... одной сопке тоже багульник цветет.

— И эти ветки оттуда, – кивнул лейтенант. – Как вы сопку-то зовете – Дембельская? – он усмехнулся. – Да-а... А это, между прочим, не багульник.

— Как это? – не понял Колька.

— Так. Настоящий багульник на сопках не растет. И цветы у него – белые.

— А это что же?

— Это? Это, воин, даурский рододендрон.

— Даурский – что?

— Рододендрон. В народе его, правда, багульником называют.

Колька, выслушав Лыжина, сказал:

— Багульник как-то лучше звучит.

— Пожалуй. Но багульник по болотам растет. В России у него есть родственники – подбел, кассандра знаешь?

— Я в городе вырос.

— Ясно. Что ж, теперь будешь знать.

— Разрешите идти?

— Так все-таки не издевались над Шарапановским? Кубарев, например, или Бойко? – голос Лыжина стал особо вкрадчивым. – А может, Терентьев или Желябов?

— Никак нет, – вытянулся Колька. – Не видел.

Следователь вздохнул:

— Иди.

Закрывая за собой дверь, Колька услышал, как он снова запел сжимающие сердце слова романса:

*И когда весенней вестницей
Вы пойдете в синий край,
Вас Господь по белой лестнице
Поведёт в Свой светлый рай...*

О чем это? О чем?

Теперь, спустя тридцать лет, он знал – о чем. А тогда Колька о Вертинском даже не слышал... Забродин перевернул страницу. Несколько летних фотографий: строевые сосны по дороге на Дембельскую сопку, на вершине которой стояла у связистов релейная станция, каменистые отмели Чёрта, лейтенант Никитин – франт: сапоги хромовые «гармошкой», приспущены и капитан Александров с «макаровым» в руке... Николай Николаевич листал страницу за страницей. А вот они на вертолетной площадке: как с поля боя – Теремок на носилках с забинтованной ногой, а у Кольки в бинтах левая рука. С того дня они не виделись больше...

О том, что здесь кислорода в воздухе не хватает, было известно, но только сейчас Колька убедился в этом, что называется, на собственной шкуре в прямом смысле этого слова. Порезал большой палец на левой руке: и ранка-то, вроде, небольшая, а не заживает и все тут! В конце концов, дотянул до того, что палец разнесло, и он стал толщиной чуть не с рожок от «калашника». Еще и околоногтевой валик побагровел. Надо было что-то делать, и Забродин пошел в санчасть. Прапорщик Аканаев поглядел на Колькин палец плотоядно ухмыляясь, сказал:

— Рэзать нада! – и сплюнул на траву насваем.

— Как это – резать? – Колька прижал левую руку к груди, будто опасаясь, что прапорщик прямо сейчас отхватит больной палец. А тот открыл дверь в палату, где располагалась санчасть, и пригласил:

— Прахады!

Опасливо озираясь, Колька вошел в пропахшее лекарствами помещение, по-прежнему пряча руку под кителем.

— Ну-ка, поглядим еще разок, – сказал прапорщик и, натянув на пухлые плечи белый халат, уселся стол. – Давай.

Рука, независимо от Колькиной воли, легла стол перед Аканаевым.

— Ага... Перанихий, очевидно, – заговорил он без всякого акцента, заинтересованно и как бы совершенно забыв о существовании хозяина пальца. – Нет, порез загноился. Ясно. Абсцесс. Та-а-к... Флюктуация началась...

От обилия медицинских терминов Кольке стало грустно, и он искренне пожалел, что решился на в санчасть.

— А попроще? – спросил он, вырывая руку цепких пальцев прапорщика.

— Рэзать нада! – повторил свой приговор Аканаев, причем опять с сильным восточным акцентом и свирепо закусил нижнюю губу.

— А если не дам? – со слабой надеждой в голосе спросил он.

— Гангрена будет, – равнодушно ответил прапорщик. – Прощайся с рукой. Колька посмотрел на палец.

— А ты, это, умеешь? – совсем уже обреченно спросил он.

— Боишься? – Аканаев принялся мыть руки. – Не бойся. Сейчас вскроем, и всё будет хорошо.

— Ладно, режь. — Колька потрянул головой. — А наркоз будет?

— А как же! Сержант! — крикнул Аканаев санинструктора. — Иди-ка, придержи больного. Акцент его снова куда-то исчез.

Серёга Шанов уселся на топчан рядом с Колькой и обнял его за плечи. Забродин заволновался.

— Вы чего? — он попытался освободиться, но санинструктор усилил хватку.

— Да ты, Коль, не бойсь, — сказал он, придвигаясь поближе. — Это и не больно. Я держу только, чтобы ты врачу не мешал.

— Он, что ли, врач-то? — с недоверием кивнул Колька на прапорщика, который уже взял его руку в свою.

— Ну-ну, — сверкая азиатскими глазами, сказал Аканаев. — Разговорчики, — он поднял вверх скальпель, короткое лезвие которого сверкнуло в солнечном луче, косо падающем в окно палатки. — Сейчас мы это дело...

Было, конечно, больно, но терпимо. Просто экзекуция длилась слишком долго, или так показалось Забродину. Он скрипел зубами, глядя на склоненную голову прапорщика, прошитую ранней сединой. Вдруг у него перед глазами побежали какие-то черные мушки. Они скользили в правый верхний угол, и Колька не успел разглядеть, что это такое, как потерял сознание.

— Ну, слабак ты, дембель! — услышал он, приходя в себя, противный акцент Аканаева.

— Сам ты слабак! — ответил Колька и открыл глаза. Над лицом покачивалась ветка молодого кедра. Оказывается, он лежал на скамейке возле санчасти, и прапорщик Аканаев совал ему под нос вату с нашатырём.

— Я, что, сознание потерял?

Аканаев кивнул.

— На, выпей! — сказал он и протянул Кольке зеленую медицинскую стопку.

— Спирт? — спросил Колька, криво усмехаясь.

— Ага.

Колька выпил и сморщился — в посудине была валерьянка.

— Иди в палатку, полежи, — сказал прапорщик. — На работу сегодня можешь не ходить.

Посмотрев на руку, Колька удивился: когда они успели забинтовать его больной палец? Но спрашивать не стал. Поднялся со скамейки, буркнул: «Спасибо, Айболит!» и пошел к своей палатке.

Дневальный, из «молодых», уныло сидел на нижней ступеньке крыльца и от скуки методично втыкал штык-нож в землю. Он встал, увидев, Забродину с перевязанной рукой, но ничего не спросил. Колька шел в палатку. Там в одиночестве лежал простуженный Володька Кубарев и играл на гитаре тему Иуды из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда».

— Филоним? — спросил он, отложив инструмент и внимательно разглядывая забинтованную Колькину руку.

— Все бы так филонили, – ответил Колька и лег на кровать. – Чуть руку не отрезали.

— Иди ты!

— Я тебе говорю. Аканаев сказал, что запросто могу помереть от гангрены.

Они проболтали до обеда, а потом решили сходить на продовольственный склад к Володькиному земляку Андрею Гуськову, писарю продслужбы, у которого всегда можно было подкрепиться чем-нибудь вкусненьким.

На этот раз подкрепились сухофруктами. Так они сидели и беседовали, когда на склад пришел известный всему батальону «молодой» харьковчанин Петя Булочкин. Известен он был вот чем.

Перед призывом в армию маменькин сынок Петя Булочкин весил сто килограммов при росте метр семьдесят пять. За время так называемого карантина Петя, хоть и висел сарделькой на перекладине, которая прогибалась под его весом, все же похудел на двадцать килограмм, и когда приехал на Дуссе-Алинь, кожа на нем обвисла складками, будто из-под неё выпустили воздух. Он был похож на грустного бассет-хауса. Ему вечно не хватало еды, и он готов был есть днем и ночью всё, что придется. Но в тайге, да еще на первом году службы на еду раскатывать губу не приходится. Как рядовой, Петя получал ежемесячно три рубля восемьдесят копеек. Он не курил и поэтому всё до копейки тратил в недавно открывшемся батальонном магазине на сладости. Довольно часто ему приходили из дома посылки – аккуратно обшитые белым материалом ящики были под завязку наполнены пряниками, к которым Петя еще на гражданке испытывал особенную слабость. Булочкин не был жадным человеком, про таких говорят, что он готов был отдать товарищу последнюю рубаху, но – пряники! Глядя как «старики» безжалостно раскурочивают мамину посылку и поедают темные, рассыпчатые пряники, только чуть-чуть подсохшие за время перевозки из пункта Х в пункт Х: Харьков – Хабаровск, Петя плакал. Но размягчить слезами окаменевшие в суровых условиях сердца старослужащих было невозможно.

— Москва слезам не верит! – любил повторять Толгат Хабибуллин, который, к слову сказать, никогда в Москве не был, как, впрочем, и в Харькове, но пряники очень любил.

Правда, и Петю угощали все, даже «старики». Особенно Джигит, который получал из своего кишлака. посылки с разными восточными сладостями.

— Булочкин! – приказным тоном звал Джигит. – Иди похрусти.

Петя смущенно брал из рук Джигита пару кубиков прозрачного голубоватого сахара, твердого, как стекло, забивался в угол и «хрустел» на всю палатку.

И вот вечно голодный рядовой Булочкин – перетянутый ремнем, пилотка на два пальца от переносицы, всё по уставу – вошел в помещение продсклада.

— Ого! – сказал мордатый Гуськов и прихлебнул из кружки горячего чая. – Кто к нам пришел!

— Меня это... «старики» послали, - смущенно говорил Петя. – Трошки сгущенки треба...

— Вон как – сгущенки? – усмехнулся писарь. – А зачем?

— Не знаю, товарищ ефрейтор.

— Как же я тебе дам, если ты не знаешь для чего?

Петя пожал плечами.

— Петь, – спросил Володька Кубарев. – А ты-то сгущенку любишь?

Булочкин с причмоком сглотнул слюну:

— А як же!

— И сколько бы ты смог её выпить?

— Чего?

— Сгущёнки.

— Много.

Колька засмеялся:

— Много – это сколько?

— Сколько было бы, столько бы и выпил, – уверенно сказал Петя и в глазах его зажглись желтые голодные огоньки.

— На, пей! – Гуськов с хозяйской небрежностью кинул Пете банку сгущенки.

Тот поймал её, повертел в толстых пальцах, не веря своему счастью, и выговорил с трудом, еще не веря своему счастью:

— Отчинить бы треба.

— Чего?

Петя испуганно заморгал.

— Так это... открыть бы?

Кубарев подвинул ему складной нож с рукояткой в виде пантеры.

— Открывай!

Схватив нож, Булочкин вонзил лезвие в жестяную крышку и стал с остервенением её кромсать.

— Да ты не торопись, – сказал Володька. – Не отнимут.

Открыв банку, Петя облизнулся, затравленно посмотрел на Гуськова, и когда тот одобрительно кивнул, припал губами к рваному краю. Он пил, не отрываясь, только кадык гулял вверх-вниз по его загорелой шее, торчащей из не свежего подворотничка. В полном молчании Петя выпил всю банку и поставил её на стол. Писарь невозмутимо протянул ему еще одну. Открыв её, и опять облизнувшись, Петя стал пить. На этот раз были слышны какие-то звуки, издаваемые Булочкиным при глотании и напоминавшие кошачье мурлыканье. «Старики» переглянулись. Пустая банка встала рядом с первой. Но Гуськов уже протягивал третью. Глаза Пети затуманились, а рука цепко ухватила за жестянку.

— Ты, пух, даёшь! – восхищенно произнес Колька и замолчал, потому что Булочкин закинул голову и пошел на рекорд. Содержимое третьей банки новоявленный рекордсмен выпил так же, не останавливаясь.

Видавший виды на продовольственном фронте, писарь продслужбы Гуськов с искренним уважением потряс Пете руку.

— Ладно, — сказал он и похлопал Булочкина по животу. — Ну, а еще — признайся — смог бы?

Петя вытер рукавом сладкие губы и зажмурился.

— Еще одну?

— Ну да.

— Могу.

— А больше?

— Нет, — рассудительно ответил Петя. — Так бы не смог. А вот если бы с пряничками...

Трое дембелей так и покатались. Они хохотали и хохотали, а чревоугодник стоял молча, опустив плеча всем своим видом как бы спрашивая: что тут, скажете пожалуйста, смешного?

— Затылок больно от смеха! — простонал Кольку, но тут в склад вошел замкомвзвода автороты старший сержант Горюнов и удивленно застыл на пороге.

— Вы чего, пацаны? — спросил он.

Гуськов только рукой на Петю махнул.

— Вы вот тут хохочете, — сказал не дождавшийся пояснения Горюнов, — а в тоннеле глыбой льда Женьку Терентьева придавило. Не знаю, живой ли, вертолёт в Чегдомына вызвали...

Он что-то еще говорил, но Колька уже не слышал. Перемахнув через стоящий на дороге стул, он помчался к вертолётной площадке.

Живой оказался Теремок. Правые нога и рука были переломаны, но голова осталась целой и невредимой. Ему навтыкали обезболивающих уколов, перевязали переломы, и он теперь лежал на носилках бледный и прибалдевший.

— Ну как ты, Жень? — спросил Колька.

— Нормально. А ты сам-то чего? — он кивнул на забинтованную руку Забродина.

— Это так, царапина. Аканаев накрутил.

Оба замолчали.

— В госпиталь, значит? — Колька в первый раз не знал, о чем говорить с Теремком.

— Ага. Вертолёт сейчас прилетит, — он вздохнул и добавил шепотом, глядя в сторону:

— Кончился мой дембельский аккорд, Колян...

— Почему это? Ты это брось! Вот подлечишься...

Вдалеке послышалось знакомое стрекотанье, и вскоре из-за сопки вынырнул МИ-8, небольшой вертолёт с красным крестом на боку. Он завис над площадкой и стал медленно спускаться.

— На вертолёте прокатишься, — виновато проговорил Колька. — А мне вот так и не удалось.

— Тоже невидаль — вертолёт, — бодро сказал Теремок. — Еще прокатишься.

— Ну да.

— Слушай, Колян, – зашептал Женька, приподняв голову. – Слушай, там меня долго, наверно, продержат, а потом дембельнут – зачем тут инвалид нужен? Так ты мне напиши, ладно? И когда домой приедешь тоже напиши. Про всё – как тут без меня будет... И это... Когда про золото станет известно... А может, приедешь ко мне в Переславль? Порыбачим на Плещеевом озере, там знаешь, какая рыбалка!.. Рыба царская ловится – ряпушка...

Он еще что-то говорил, но Кольку отодвинули в сторону, носилки с лежащим на них Теремком подняли два бугая из путейцев и понесли к вертолёту, в открытых дверях которого мелькали люди в белых халатах.

У Кольки защемило в груди. Он тогда еще не знал, что с Теремком они уже никогда не увидятся.

Больше фотографий в альбоме не было. Между двумя последними страницами лежала пожелтевшая газетная вырезка – Приказ Министра обороны СССР № 230 от 26 сентября 1975 года: «Об увольнении из Вооруженных Сил СССР в ноябре-декабре 1975 года военнотружущих, выслуживших установленные сроки службы...».

— Дембель стал на день короче, «старикам» – спокойной ночи! – громко продекламировал долговязый Сережка Ковалев и спрыгнул с табурета.

— Ура! – шепотом подсказал Толик Желябов, и «молодые» дружно крикнули: «Ура!».

— Вот, – с назиданием произнес Володька Кубарев, докуривая сигарету у открытой дверцы печи. – Так теперь делайте каждый вечер. Понятно?

Четверо «молодых» саперов, затянутых по талии ремнями, согласно кивнули.

Колька провел рукой по только что побритой голове – она была настолько гладкой, что даже не кололась. Сто дней до дембеля. Совсем немного осталось. Сегодня все дембелям побрили головы – пусть свежие волосы пробиваются, как раз за три месяца отрастут.

В октябре тайга оделась в разноцветные одежда, в которых преобладало золото и пурпур, стала пышной и нарядной, как византийская принцесса, а вершина Дембельской сопки скоропостижно поседела, и эта седина в ранние часы серебром горела на солнце. Обмелевшую к осени речушку за одну ночь сковало льдом, построенный утром на развод батальон наблюдал, с берега на берег по тонкому, чуть припорошенному снегом льду бежит бурундук, оглядываясь на свои следы.

За этим зверьком Колька с товарищами давно наблюдали. Он жил у подножия Верблюда, совсем не боялся людей и спокойно выбегал к крайней палатке, подъедать остатки пищи, которые оставляли ему солдаты. Джигит предложил его изловить.

— Зачем он тебе? – спросил Костя Бойко, получивший недавно лычки младшего сержанта, что давало ему по дембелю особые льготы при переходе легендарного хохляцкого моста.

Джигит ответил, что возьмет бурундука домой.

— Это в Каракумы свои, что ли? — усмехнулся Бойко. — Он там подохнет в два счета.

— У нас нет Каракум, у нас есть Кызылкум! — поправил Джигит. — А мой кишлак, между прочим, в горах стоит.

— Это факт в географии известный. Только всё равно бурундук и в горах подохнет.

— Не подохнет.

— Подохнет без пары, — сказал Толик Желябов уверенно, и Джигит ему сразу поверил как человеку, который вырос в тайге, хоть и не в дальневосточной, и конечно же, всё должен знать про её обитателей, как он сам всё знает про овец и ишаков. Последние будто бы вообще гуляли по горам без всякого надзора. Колька спрашивал его, сколько стоит ишак, и Джигит отвечал, что ничего не стоит — приходи да бери.

— Такого быть не может! — не верил Забродин.

— Может!

— Врет дервиш! Поди-ка проверь его!

Джигит кипятился:

— Приезжайте ко мне в гости, сами и увидите!

— Найдешь тебя в горах!

Все смеялись.

А с бурундуком им все же довелось встретиться на тропе войны. Однажды они разбирали на дрова один из ветхих домов за речкой и увидели зверька, который забрался за доску над крыльцом, Джигит не удержался и ринулся ловить полосатого воришку. Колька с Толиком включились в охоту. В пылу погони Колька скинул бушлат и шапку, о чем сильно пожалел. Загнанный с двух сторон бурундук решился на отчаянный поступок и сиганул из западни точно на лысую Колькину голову. Оттолкнувшись от новой опоры, зверек спрыгнул на землю и был таков. На голове Кольки остались четыре глубоких царапины.

Джигит и Толик едва сдерживались от смеха, чтобы не обидеть раненого.

— Вот это пробороздил! — выговорил сквозь зубы Толик. — Дембельская метка!

Колька держался за голову и морщился от боли. Сквозь пальцы сочилась кровь.

А Джигит, отвернувшись, сказал:

— Не буду ловить бурундука. Свободу любит — пускай живёт на воле...

Дождались и они своей воли. Начиная с середины ноября, прифасоненные по последней армейской моде дембеля партиями стали уезжать в Ургал, там — в Хабаровск, а оттуда — по всей матушке России. Колька получил дембельские документы вместе с Джигитом. Вечером они прошли по всем палаткам — прощались с товарищами. Тогда думалось, что ненадолго, что обязательно увидятся в недалеком будущем, но оказалось, что навсегда. Никого из сослуживцев Колька не встретил ни разу за всю свою жизнь.

В Хабаровске они трое суток жили в гостинице «Заря», ждали самолёта. Джигит быстро пьянел от «Стрелецкой» и звал всех горничных в гости в сол-

нечный Узбекистан, где в предгорьях Гиссаро-Алая есть маленький, но самый гостеприимный в мире кишлак, там по склонам синих гор пасутся самые лучшие в мире каракульские овцы, и бродят в поисках хозяина покорные ишаки, где живет самая добрая в мире мама Малика-опа¹⁵. Уже два года она печет для сына по утрам самый вкусный в мире сув и раздает его чумазой детворе, а вечером, когда махалля¹⁶ по привычке распахивает двери навстречу путникам, можно увидеть, как немолодая уже женщина выходит на дорогу и глядит из-под руки на заходящее солнце...

Джигит улетал первым. Колька проводил его до трапа, и они обнялись.

— Приезжай! – сказал Джигит, и на глазах у него появились слёзы. Он не стеснялся их, вытирал рукавом шинели. – Приезжай ко мне, Колька. Я буду ждать.

Колька кивал головой и глотал комок, застрявший в горле.

— Приеду, – наконец выговорил он. – Я обязательно приеду, Джигит.

— Я тебе адрес написал в дембельском альбоме на обложке.

— Ладно. Слушай, а как тебя зовут, а то всё Джигит да Джигит?

— Джумабек.

— А-а. Помнишь, старшину Джумабекова?

— Помню. Он – Джумабеков, а я – Джумабек. По-русски, Женька, наверно.

— Конечно, Женька.

Ветер рвал полы шинелей. Пора было подниматься по трапу – стюардесса давно уже что-то кричала им с верхней площадки.

— Ну, всё, Джигит, иди.

— Колька, слушай, у нас так говорят: сто друзей – это мало, один враг – это много... Ты – дуст, Колька, ажралмас дуст... сен¹⁷... ты мой друг, помни... Самый лучший в мире...

Как тогда к горлу подкатил комок. Николай Николаевич шумно вздохнул и закрыл альбом. Всё это было зря? Вот это всё было зря? А что же тогда не зря в этой жизни?

Забродин тряхнул головой и решительно открыл дверь в комнату сына.

¹⁵ Опа – у узбеков вежливое обращение к женщине (прим. автора)

¹⁶ Махалля – дом, хижина, жилище в кишлаке (узб.)

¹⁷ Ажралмас дуст сен –ты близкий друг (узб.)

Содержание

Волжские рассказы

Сказать правду так просто	2
Лодка	10
У костра	14
Золотой линь Сани Найдина	18
Буря	21
За окунями	25
Я, Витек и Дик Сенд	32
Высокая грива	41
Егорыч	45
Колька Рудаков – рыбак из рыбаков	51
Полынья	54

Про дядю Ваню

Дядя Ваня и «белая» горячка	57
Дядя Ваня и водяной	59
Как дядя Ваня с друзьями на льдине дрейфовал	62
О чем дядя Ваня не любил рассказывать	65
Из криминальных рассказов	
Пузырь, соломинка и лапоть	74

Повести

Дети солнца

Акция	92
Тайная милостыня	95
Как Мишка-немой в газету попал	99
Про выборы и все такое	102
Со святыми упокой	107
На сопках, где цветет багульник	110